Владимир Лим

Последнее кочевье

История вымышленная, но правдивая

Не думайте, что Я пришёл принести мир на Землю, не мир пришёл Я принести, но меч...

10—34, Евангелие от Матфея,
1 век н.э. (41—55 гг.)

Часть первая

Женщина в купальне

Афганский синдром — посттравматическое стрессовое расстройство, тесно связанное с ощущением собственной беспомощности из-за невозможности эффективно действовать в опасной ситуации.

Главное управление воспитательной работы Вооружённых сил РФ, 1991 год.

1

Полгода он собирает фотографии, документы, копии наградных листов, приказов, телевизионные сюжеты, рассказы сослуживцев, родственников, матерей, отцов. Исповеди о сыновьях. Об их мальчиках, погибших на войне. О тех, кто уже никогда не вернётся. Не женится, не продолжит свой род, не состарится, не похоронит своих родителей. И они умрут в одиночестве, разорвав бесконечную череду рождений и перевоплощений. От Адама или, после очередной гибели человечества, — от Ноя, его сыновей: Сима, Хама и Иафета, взросших на склонах

Лим Владимир Ильич — прозаик, журналист. Родился в Камчатской области в 1948 году, окончил Литературный институт (семинар Ю.В.Трифонова), работал в «Комсомольской правде». Первая публикация — повесть «Коса» — в журнале «Октябрь» (1975), Автор книг «Горсть океана» (1989; переиздание 2015), «Цунами» (2022). Лауреат премии «ДН». Живёт в Петропавловске-Камчатском.

Предыдущая публикация в «Дружбе народов» — роман «Пылающий» (2023, № 9).

Арарата. По «Повести временных лет» — от младшего, от Иафета, от него — яфетиды, а от них — фряги: славяне, финно-угры и народы Западной Европы.

Он почти закончил эту свою работу. Осталось ещё одно камчатское село — Эссо, что значит — «лиственница» по-эвенски.

Но не закончилась война, и герои продолжают умирать. И растут только кладбища.

В городах героев хоронят на аллеях ветеранов, рядом с солдатами Отечественной и Афгана, а в сёлах — с краю, но рядом, друг возле друга. Как на войне.

Московские, петербургские, калининградские, смоленские, пермские, бурятские, приморские, якутские, камчатские... Вся страна. Вместе воюют, вместе лежат. На кладбищенских аллеях. Под чёрными гладкими, как лёд, мраморными плитами, под поникшим триколором.

Было очень трудно, даже ему, ветерану Афгана, повидавшему много смертей. А может, именно потому, что повидал?

Он приходил сразу после похорон или до них, если *они*, в цинковых гробах, были ещё в пути, в полёте, в багажном отделении *боинга* или в военном транспортном Ил-76 — среди обрешётки с сантехникой и электроплитами для городка подводников.

А он был одним из гонцов, одним из причастных к *их* гибели, кого присылают после всего увековечить *их* память.

Родственники: беззащитные матери, часто без мужей, младшие испуганные братья, тётки, бабушки смотрели на него как на ангела смерти. Или всадника Апокалипсиса.

Глаза их не верили, просили вернуть. А отцы уводили от всех — в сторонку, в сельский гараж, на реку, чтобы защитить родных от тяжёлых трудных воспоминаний, от вчерашнего вечного горя. Глаза их отталкивали: уходите, не нужны вы нам со своей памятью, забрали *его* на мясо, а теперь терзаете, рвёте душу...

И вот там, в гараже, возле *его* зелёного кроссового мотобайка, отец рассказал о том, как страшно, нелепо погиб его сын: «отработал» один контракт, пришёл домой, но места себе не находил, будто там, за Лентой, откуда он вернулся, наслали на него порчу, приворожили, будто без него не разберутся с этой оху..шей Европой, и через месяц уехал назад, туда, где теперь навсегда *его* место.

Шли ночью устанавливать мины, расслабился в отпуске, нюх потерял, наступил в темноте на маленький, с охотничий патрон, заряд от кассетного снаряда, сдетонировала мина в руках, домой привезли в запаянном цинковом гробу, похоронили не открывая, и кажется теперь — не *его*, кого-то другого, а *он* остался там, в *лесополке*, и зовёт, зовёт...

«...Поеду туда, к нему... как думаешь, пустят? за шестьдесят мне...»

Он понял сразу, что от *него* почти ничего не осталось, разве что растерзанная голова или ступня, оторванная кассетным зарядом, а остальное, после мины, собирали по кустам, снимали с деревьев, и потому — в запаянном гробу.

Отец курил и смотрел мокрыми глазами на *его* мотобайк — никогда уже сын на него не сядет, мусолил дрожащими губами сигарету.

И его вдруг захлестнуло, вспомнил, впрочем, и не забывал никогда, хотя прошло больше сорока лет, просто иногда сильнее прежнего накатывало: *они шли колонной на бронетранспортёрах и грузовиках по дороге к Панджшерскому ущелью, и он думал, подскакивая на ухабах, как нагрузит это слово смыслами, а моджахеды выбили первую и последнюю машины и стали поливать их, как беззащитных зверей в клетке, из пулемётов и русских «калашей», продолжая выбивать гранатомётами, одну за другой, боевые машины, и он побежал за всеми.*

Майор, который только что сидел рядом с ним, подначивал, стоял теперь возле перевёрнутой взрывом машины и что-то кричал ему или в рацию, а он рвался бежать прочь от этого страшного места, ему, как и всем пацанам, очень хотелось жить, и когда майор упал, он побежал дальше, к скале, и переставлял ноги до тех пор, пока вдруг ясно, как будто с него упала какая-то пелена, не понял, что он ***проклятый трус****, и с этим ему придётся доживать свою* ***поганую трусливую*** *жизнь. И он развернулся, закричал что-то солдатам, подобрал брошенный кем-то автомат, побежал навстречу пулям, они свистели над головой, щёлкали о камни, обходили, облетали, словно заговорённого, и оттащил майора за дымящийся бронетранспортёр, а потом с размаху кинулся под грузовик, в эту жуткую чёрную дыру в приподнятом углу расплющенного кузова, откуда уже никто не выползал. И поэтому запомнил, что грузовик лежал кверху колёсами, и колёса эти бешено крутились.*

Он доставал и вытаскивал, переползая мёртвых, вялых, скользя коленями по пропитанному кровью брезенту, посечённых пулями и осколками живых пацанов, пока одна из них не ударила в темноте ему в лицо, пробив щеку, и вынесла три зуба, и с ними кусок челюсти через разинутый от ужаса рот... Потом он думал, что ангел, который закрывал своими крыльями, не разглядел его в темноте.

Когда вертолёты отбили их и он попал в госпиталь, долго не мог ничего вспомнить, кроме упавшего в бурых наушниках майора и этих колёс.

Ему нарастили челюсть и вставили зубы, майор выжил и представил его к награде; месяц, напившись, кричал на себя в зеркало: трусу дали медаль «За отвагу», но, когда знакомые спрашивали — за что, он молчал, только криво жутко улыбался, как привык, живя в военном госпитале без зубов.

«Подхватил афганский синдром», — шептались просвещённые коллеги. Спасибо, не крутили пальцем у виска.

Он стал единственным журналистом центральной молодёжной газеты, получившим боевую награду, но никогда её не доставал из вишнёвой бархатной коробочки.

С тех пор он из лейтенанта вырос до майора запаса, как будто тот, в наушниках, запретил ему, нестроевому офицеру, обходить его в звании, и, обнимая отца погибшего минёра, вдруг решил ходить на встречи с родственниками и сослуживцами своих убитых героев, надев ту советскую полевую отстиранную от крови лейтенантскую гимнастёрку и медаль.

Его предупреждали, что к старости афганский синдром усилится. У многих крышу сносит, регулярно напиваются до белой горячки, руки на себя накладывают. А он — просто навеки застрял у ворот в Панджшерское ущелье. Вместе с пацанами.

Внутренний голос, прозвучавший в минуту объятия, оказался прав, старенькая, выцветшая на плечах гимнастёрка советского лейтенанта, потускневшая стальная солдатская медаль и знак Участника боевых действий в Афганистане открывали сердца охваченных горем утраты людей.

И теперь ему не нужно было оправдываться или что-то объяснять. В нём перестали видеть гонца или всадника. Как только он, представившись, снимал свою ветровку, люди оглядывались на него, на его маленький маскарад — он надевал под гимнастёрку обыкновенные джинсы цвета хаки, — их глаза теплели, оживали, когда они разглядывали медаль на его груди, глубокую ямочку на щеке, лейтенантские погоны под сивыми кудрями изрядно поредевших хипповатых волос, убеждаясь в подлинности «реквизита».

Они усаживали его за поминальный стол как желанного гостя, придвигали тарелку с кутьёй или блинами, подливали водки, компота, и он — не сегодняшний писатель и журналист, а лейтенант из СССР — становился для них своим, хотя был старше отцов и матерей лет на десять-пятнадцать. Они по-свойски отмахивались поначалу от его обязательных вопросов, говорили о своём, наболевшем, но потом всё же прислушивались к нему, послушно заворачивали разговор в нужное ему русло. И рассказывая о *нём*, о *его* детстве, школьных годах, первой зарплате, первых девушках, первом отпуске на южном море, первой награде и, наконец, о *его* подвиге, забывая уже убирать с лица невольные слёзы, не глотали тяжёлые рыдания...

И он, устав сдерживать ответный плач, прятать ответные слёзы, отпускал эту судорогу в горле, закрывал лицо ладонями... и видел откуда-то сверху, с дрона, или как летающий над полем битвы архангел, *то ущелье, мёртвых пацанов, как будто просто и бездумно прилёгших в жаркий афганский полдень вздремнуть возле горящих грузовиков,* — мальчиков, которые не вернулись домой и не стали писателями или журналистами, телеведущими, учителями, майорами, генералами, капитанами белоснежных океанских лайнеров.

Или просто отцами.

«Шурави, сдавайся!» — кричали им моджахеды. А они неохотно отвечали, как и сейчас: «Русские не сдаются!»

2

В девяносто третьем он попал под обстрел возле Белого дома и умудрился поймать в ногу пролетающую мимо пулю провокатора, мучился от боли в очереди к хирургу с другими ранеными, оглядываясь на высокую военную зелёную каталку с убитым студентом, но книг, даже документальных, больше не писал — жизнь была круче и страшнее романов; в девяносто шестом, когда денег перестало хватать даже на сигареты, ушёл в бизнес, продавал оптом белорусские «Горизонты», собранные в Протвино, потом японские «Фунаи», итальянскую

обувь и даже шоколадные яйца киндер-сюрпризы, но торговля скоро стала сдуваться — пришли крупные оптовики с сетевыми магазинами; купил печатную машину, бывший склад, открыл типографию, издавал газеты, рекламные листовки и дешёвые карманные бестселлеры на серой бумаге. Сын закончил мехмат МГУ, защитился и уехал в Америку, в Юту, преподавал в местном университете, женился на местной русского происхождения, родили внука, жена уехала к ним. А он вышел на нищенскую пенсию и вернулся на Камчатку, в родительскую квартиру, чтобы, наконец, продать её, а потом как-то вновь прилепился к ней, как в детстве, устроился в своей комнатёнке с видом на трубу котельной и край Авачинской бухты с Вилючинским вулканом, избегая почему-то заходить в зал со смежной кухней и ещё одной, родительской, комнатой, решил добирать северный стаж, и... заскучал, неожиданно заревновал жену, которую благодарно любил всю жизнь, сосредоточился на её изменах с его же друзьями, переживал, чуть ли не смаковал... А она даже не подумала оправдываться, грубо ответила, что у него на старости лет поехала крыша либо обострился афганский синдром. И посоветовала ехать к ним, деньги у него остались от продажи бизнеса, лежат в банке в долларах, так что нечего жадничать, выдумывать какой-то стаж, а здесь некогда будет забивать голову всякой *хернёй, от латинского hernia*, всю эту *нервозную грыжу* как рукой снимет.

Он её не послушал, — раньше русских в Америке привечали, а как сейчас, он не знает, жену не спрашивал, осторожничал, не хотел подставлять. Но ревновать вдруг перестал, действительно, крышу понемногу сносит от безделья.

И — решил проехаться по местам молодости, в Долину, в Эссо, где познакомился с женой, преподавателем английского, может, начать писать с какой-нибудь повести о любви. Тут же подвернулся заказ от руководителя писательской организации, как *афганцу с боевым опытом,* — собирать, писать и издавать биографии погибших на СВО героев. Ему всю жизнь везло на такие совпадения: стоило перевести сбережения, оставшиеся после покупки сыну дома в Юте в доллары — и вот тебе, рубль упал в разы.

Почти все герои жили в Долине. Да и где ещё нынче можно жить на Камчатке — в Городе и в Долине. А Побережье — не для жизни, там красная рыба, там деньги. И туман, морось, штормы, солёная вода в колонках, галечные косы — голые, только грубая, мелькающая изнанкой на ветру осока, дикий ползущий горох и коралловидные отростки прибрежного шиповника с кровавыми бутонами.

И спонсоры есть, сказал председатель писательского союза, на бензин хватит. Шутка.

И вот теперь Эссо.

Это камчатское село он любил с молодости. Сюда его привела журналистская командировка как раз перед отъездом в московскую аспирантуру. Но тогда он не задумывался, почему Эссо так отлично от других, возникших сотни лет назад вдоль реки, а потом — дороги, длиной в тысячу километров от Петропавловска до Усть-Камчатска. Оттуда, из устья великой камчатской реки, впадающей в буйный Тихий океан, русские купцы и промышленники — добытчики шкур

морской выдры — отправлялись на Север к Аляске, спускались к Калифорнии, бывшей ещё испанской колонией, где пытался найти своё счастье с Кончитой граф Николай Резанов, или далеко на Юг — через Японию и Формозу (Тайвань), — как бежавший с Камчатки знаменитый ссыльный авантюрист, обвинявший императрицу Екатерину Вторую в ужасных злоупотреблениях, Мориц фон Бенёвский, полуполяк-полувенгр, будущий король Мадагаскара.

К его удивлению, резановскую «Юнону», разбившуюся о скалы недалеко от нынешней базы подводников, обозначенной НАТО как «осиное гнездо», до сих пор не подняли и не реставрировали для обозрения туристами. Это был бы, на взгляд бывшего предпринимателя, популярный и прибыльный исторический артефакт.

Когда-то, 250 лет назад, Россия отказала в помощи англичанам, просившим направить в Америку воинский контингент численностью 20—30 тысяч штыков для усмирения повстанцев, а теперь там, на другом берегу, — заклятый враг, подчинивший всю планету, грозный и беспробудно лживый.

Строительный бум на Камчатке пришёлся на эпоху Никиты Сергеевича Хрущёва, и потому здесь нет внушительных сталинских зданий в стиле ампир, украшающих Сибирь до самого Владивостока и до Харбина, но всюду, даже в деревнях, понаставили облезлые унылые пеналы хрущоб. И он удивлялся, зачем нужно было возить эти панельные дома за тысячу километров по ухабистой грунтовой дороге на камазовских тягачах, когда вокруг сёл стояли превосходные корабельные, стойкие к камчатской непогоде, лиственничные леса.

И ещё удивительней было, что именно из этой лиственницы и построили в Эссо двухквартирные дома для местных жителей, с палисадниками и огородами.

Поразмыслив, он пришёл к выводу, что тут не обошлось без «роли личности в истории», то есть некий руководитель сыскал в себе силы и волю пойти против общего абсурдного курса в масштабах своего района. И не нашлось такой личности, к примеру, в Милькове, что в 250 километрах, с двумя кварталами хрущоб. И жители вынуждены были распахать дальние окрестности села под дачные участки — устроились вполне по-советски.

Он считал повинным в этом сельском абсурде того самого вождя, отметившегося ещё и загадочной передачей Крыма, который на то время был единственной военной базой Черноморского флота. Более того, подозревал, что авантюрист Хрущёв был засланцем из будущего, ясновидцем, — ведь невозможно представить, что недалёкий малообразованный вождь, до конца доучившийся только в Донецком техникуме, но зато поднаторевший в партийных интригах, мог предвидеть не только потепление климата и распространение кукурузы, но и развал великой ядерной империи, превосходившей по размерам все предыдущие, и заранее отписал «ридной» Украине черноморский полуостров стратегического назначения, политый русской кровью в нескольких жесточайших войнах.

Впрочем, надо заметить, предыдущие да и последующие вожди не сильно отличались русским патриотизмом, включая и Владимира Ильича, отдавшего Украине в эпоху революционных уступок бескрайние русские промышленные территории и города, включая Донбасс, Запорожье и Харьковщину, Одессу, Николаев, Луганск, Днепропетровск. И главным следствием этого стали

сегодняшнее повсеместное уничтожение русского языка, притеснение православной церкви в нынешней бандеровской Украине.

И война.

И он совершенно не задумывался о том, что если в СССР защищать интересы титульной нации особенно было некому, то при этом интересы других народов и народностей как-то блюли. Весь район, столицей которого было Эссо, имея статус национального, обладал многими социальными и бюджетными привилегиями. И выглядело село поуютнее, чем в каком-нибудь подмосковном волоколамском районе, где косо стояли не только заборы, но и дома.

Власти края любили показывать иностранцам это село, да и сами иностранцы, включая журналистов BBC, CNN, северной Европы и Германии, стремились сюда, чтобы приникнуть к роднику чудом сохранившейся традиционной культуры эвенов.

Они называли их то «французами Севера» за пристрастие к приталенным кафтанам и расшитым бисером нагрудникам, то «ковбоями тундры» за их уникальную способность мчаться верхом на своих рослых оленях и метко стрелять из карабинов.

Он не видел различий между коряками, чукчами, якутами или эвенами, — северяне, с которыми он изредка общался, превосходно говорили по-русски, и не приходило в голову, что где-то на территории российской федерации он может встретить людей, для которых русский так же непонятен, как, скажем, и английский.

Он столкнулся с этим, забравшись с женой в отдалённый табун, где их угостили оленьими языками, какими-то сладковатыми клубнями, а когда он стал задавать свои вопросы, молодые пастухи отвечали на непонятном языке. Как оказалось — эвенском. Потом, поездив по стойбищам, понял, что они подшутили над ним, как говорят — развели.

Можно было бы сказать, что эти места — своеобразная резервация, как заведено на противоположном берегу Тихого океана американцами для своих индейцев, известно, что они отдавали коренным жителям не самые лучшие земли. Но очень скоро он выяснил, что эти места эвены открыли и выбрали для проживания сами и до них здесь никто никогда не селился, хотя Эссо был и остаётся чем-то вроде таёжного безветренного оазиса, заслуженно называясь камчатской Швейцарией.

Единственный недостаток этих мест — они находятся в горной обширной долине на высоте более пятисот метров, но это никак не ощущается, разве что только волшебным, в одну ночь, переходом от лета к зиме, минуя осень; воздух здесь, можно сказать, целебный настолько, что ты не дышишь, а пьёшь его и даже ешь, — этот густо напитанный хвоей, цветами кипрея и альпийских лугов кисель.

Он сразу же почувствовал эту его целебную силу своими не очень здоровыми лёгкими, пережившими детский туберкулёз, распространённую болезнь среди выходцев с камчатского побережья и оленеводов.

3

Добирался он до Эссо со своей *дворянкой* Тусей почти десять часов. Его уже пожилой, прокачанный сто пятый крузак, пригнанный сюда контейнером с Павелецкого вокзала, бодро проскочил 250 километров по асфальту до Мильково, но на грунтовке подвёл, пробив колесо; быстро поменять не получилось — куда-то запропастилась секретная гайка, поставленная ещё финнами, первыми хозяевами джипа, пришлось перерыть всю машину, на что, вместе с обедом и прогулкой до реки, ушло почти два часа.

За это время остановилось с десяток машин, включая порожние лесовозы, и всем хотелось знать, что приключилось, не нужна ли помощь, почему московские номера, не из самой ли столицы держит путь. Его радовало дорожное братство камчатских водителей — не дадут пропасть, — пока не остановился чересчур заботливый, даже прилипчивый — назвался Мишей Прокопенко, полез на крышу по лесенке, скинул с багажника, умело орудуя ленточным натяжителем, запасное колесо, да так, что оно упрыгало в сторону глубокого противоположного кювета, пришлось догонять. При этом помогать поднимать на крышу пробитое не стал, мол, спина болит, предложил к себе в багажник сунуть — до этого, узнав, куда едет, обрадовался: он как раз из Эссо и у него при доме *гостиничка* с бассейном, милости прошу, с собачкой можно, если мебель не грызёт, еле отбился. Потом, когда, рискуя слететь с грунтовки, оторвался, задумался: чего упирался, ну поселился бы у него, искать ночлег не пришлось бы.

Пришёл всё же к выводу, что инстинкт его, как всегда, не подвёл, правильно отшил, такой не даст спокойно отдыхать и предаваться воспоминаниям молодости.

Он встал на ночь слева от села на горячих источниках, на лужайке, сбегавшей по пологому берегу к реке, — чуть не забуксовал в болотце, объезжая чьи-то два джипа, приткнувшиеся к ручью, вовремя включил «4 WD» и проскочил наверх.

Прежде, когда он с женой бегал сюда из гостиницы, здесь была просто тесная деревянная почерневшая купальня, а теперь целых две: одна в просторной избе со свежим деревянным настилом по периметру ванны, а вторая, поменьше, видимо, перестроенная старая, под навесом в виде поднятого шалаша, в которой ночью, в горячей термальной воде, они занимались любовью — уже без особой нужды, скорее, из любопытства, отбиваясь от комаров. Интересно, что после полуночи они куда-то исчезали.

Туся тут же сойдясь с чьим-то французским бульдогом, чёрным и задумчивым, стала скакать возле него, заманивать на лужайку. В болотце, затянутом мелкой ряской, рядом с ручьём, страстно загорланили лягушки, прежде их не было ни здесь, ни по всей Камчатке, кто-то завёз или сбежали из аквариума. А может, грустные гуси-лебеди, пролетая весной на север, принесли на лапках икру этих японских земноводных странного беззащитного светло-бежевого цвета. Туся попробовала поймать одну, но только вымазалась в иле, пришлось мыть её в тёплом ручье.

И теперь, под лягушачий страстный гомон, прикрыв глаза, отдавшись лёгкой дорожной печали ни о чём, он мог представить себя, впрочем, без особого сожаления, у старого пруда на подмосковной душной вечерней даче.

Костёр разводить не стал, сварил суп из тушёнки и ролтона на газовой, свирепо шипящей горелке, накормил Тусю и лёг спать, приоткрыв дверь для неё и опустив полог от комаров.

Рано утром Туся разбудила своим ворчаньем у самого уха. Он выглянул из-под полога, чуть не ткнувшись лицом в грудь проходившей рядом с машиной блондинки. Она ловко увернулась, обмахнув ему лицо полотенцем, перекинутым через шею, кивнула, обернувшись, и сбежала с лужайки вниз, к купальням. Она была в тесных серых лосинах и такой же майке, он успел разглядеть её спортивную длинноногую фигуру.

Надел плавки и, ощущая притяжение, словно купальщица захватила его в невидимые мягкие сети, спустился вслед. Она была во второй, под шалашиком, купальне, как почему-то и представлял, оглянулась на его шаги, мотнув светлым хвостиком стянутых толстой резинкой волос.

Осторожно спустился, невольно подняв руку для равновесия, по скользким мыльным ступенькам. Девушка успела вымазать лицо и шею чёрным целебным илом, который захватила в соседней, за низким бортиком, луже, возможно, специально для него сделавшись похожей на чёрта у кипящего адского котла.

Он лёг в горячую воду, ногами к ней, получилось валетом в одной ванне, как в постели, и заметил, глядя на её плоский живот: *Вы теперь ужасная, как чертёнок в аду, только без хвоста*. Она шевельнула гладкими крепкими бёдрами, будто хотела убедиться в этом, и сказала с весёлой ответной неприязнью: *А у вас ноги женские... слишком красивые для мужика*, уточнила она, смягчая, *отдали бы нуждающимся...*

У меня такое впечатление, что мы уже говорили об этом, сказал он.

Он хотел сказать, что когда-то давным-давно, словно в другой жизни, по какому-то странному совпадению ему об этом заявила жена, которая ещё не была женой, и это случилось именно здесь, когда они впервые купались вместе, но не смог быстро сформулировать так, чтобы это не прозвучало обидно или вызывающе.

Может быть, в другой жизни, усмехнулась она.

Или в будущей, как-то неловко вырвалось у него.

Она странно, словно поняла его, взглянула и ушла в душевую кабинку.

Вышла уже в лосинах и кроссовках, с полотенцем на шее и, не оглянувшись, высоко и красиво, по оленьи, держа голову, побежала через лужайку к селу. Наверняка знала, что он смотрит вслед. И когда скрылась за бугром лужайки, он приподнялся в ванне, чтобы посмотреть, как поётся в дурацкой песне, не оглянулась ли она. Не оглянулась.

Он ещё погрелся — горячая вода расслабляет мышцы и полезна для суставов и позвоночника, особенно после долгой трудной дороги, — потом, когда пришли соседи-туристы с двумя малышами, мальчиком и девочкой, вернулся в машину и снова уснул. Продремал больше часа, проснулся

с ощущением чего-то хорошего и вспомнил о женщине в лосинах. *Село небольшое, немудрено и встретиться*, подумалось.

Он проехал до центра села, никуда не свернув, следуя своим смутным воспоминаниям, проехал низкий плоский мост, мимо огромного бассейна и оказался недалеко от Администрации района, если судить по триколору на коньке здания, хотел сразу пойти в отдел образования, где работала жена героя, но увидел высокий мост через реку, деревянный рубленый *острог* с башенками на другой стороне — этнографический музей, знакомый ему по фотографиям в интернете, и решил для начала зайти туда, тем более что нужно было прогулять Тусю, которая перескочила на переднее сиденье и проникновенно заглядывала ему в глаза.

Туся нашла подходящее место на другом берегу речки, под кустом ивняка, естественно выросшем похожим на стелющийся бонсай, присела рядом с перевитым коротким стволом, сгорбившись и гордо подняв голову.

Она сама выбрала его полгода назад, запрыгнула в машину, когда он, распахнув все двери, стоял в порту возле контейнера и перегружал в багажник зимние шины. Его беспокоила лёгкая ржавчина, покрывшая стальные полозья сидений, видимо, в контейнер попадала дождевая или морская вода, испаряясь, проникла в джип. А увидел собаку — уже подкатив к родительскому дому, она с любопытством приветливо разглядывала его озабоченное лицо в зеркало заднего вида. Он открыл ей дверь, чтобы выпустить, но она только попятилась, смешно склонив голову набок, как медвежонок.

Его покорила её весёлая умная серая, бородатая мордашка, оказавшаяся после мытья белой с красивым лёгким персиковым оттенком; удивительнее всего, что она как-то поняла, почувствовала его одиночество и потому запрыгнула в джип, совершенно уверенная, что он жаждет удочерить её. И это было действительно так — только она оказалась в квартире, он почувствовал, что теперь пахло всюду преимущественно её шерстью с лёгким оттенком псинки и совершенно испарился лекарственный горький запах одинокой старости, державшийся долгих десять лет после смерти матери.

Родителя почти не помнил, они расстались, когда ему было лет шесть, вероятно, отец давно переместился в другую вселенную, чувствовал он по холодку в груди, когда пытался припомнить его лицо.

Мама всю жизнь любила отца, в день, когда он ушёл от них, долго стояла у окна, а потом повернулась к сыну и смотрела так, будто забыла, где она, и кто она, и зачем. Позже, готовя документы на квартиру к продаже, он обнаружил, что она даже не выписала отца из квартиры, вспомнил, как позвал её к себе в Москву, на Хорошёвское шоссе, а мама отказалась, посмотрев тем же взглядом, от окна, и он понял, что она до сих пор ждёт отца, давно выбывшего за пределы Камчатки в неизвестном направлении. Вдруг возникнет у порога, побитый, брошенный, спросит: а как бы, это, перекусить?

4

Они прошли с Тусей на лужайку с короткой стриженой травой, она тотчас присела, коротко отметилась: я здесь была. С восточной стороны выкопана полуземлянка с низким входом, он видел подобные в стойбищах, и даже с женой заходили в одну такую, зачем-то лазали на крышу и пили с хозяевами иван-чай. Она тогда ещё не была женой, жила на первом этаже учительского общежития, вспомнил, как они в её комнатке пили вино при свечах, она вдруг включила верхнюю голую лампочку, и за окном, в косой копне света, он близко увидел какого-то парня, тот напряжённо смотрел на него, он от неожиданности даже вздрогнул. Она встала и решительно задёрнула штору, как отрезала. Он не решился спросить, кто это и что ему нужно. Но она сама сказала очень серьёзно: это мой бывший, придётся тебе у меня ночевать, он хочет тебя побить, здоровый, чёрт, гирями на досуге балуется.

Они ещё даже не целовались, а в тесной комнатке стояла только узкая кровать и стол с двумя стульями. Или табуретками.

Она была красива и многозначительно молчалива, и он почему-то всегда знал, о чём она думает и что она думает о нём, — с их первой встречи на том мосту возле музея. Правда, тогда ещё музея не было и мост был другим, низким, плоским, у самой воды, и она стояла с подругами и была самой красивой из них, с длинными русыми волосами, завитками огибавшими высокий лоб, прямыми строгими чертами лица и чистой нежной кожей, только глаза её, раёк, показалось ему, были слишком светлыми и оттого холодными. И вся она была какой-то чистой, нежной и холодной, как снежная королева. К ней так и обращался один его коллега, с которым он сошёлся на картошке в подшефном совхозе, — в многолюдной редакции не было принято дружить отделами, красивый, рослый, мускулистый парень, международник, сын знаменитого на весь Союз журналиста, нагло, как бы шутя писавший ей комплименты на праздничных посиделках, с русским обращением: С-нежная королева! И английским коротким любезным текстом. Правда, тот прекратил это делать после его затянувшейся командировки в Афган и лечения в госпитале.

Они уснули на её узкой кровати валетом, приставив стулья (или табуреты), а утром он предложил поехать с ним в далёкое стойбище на лошадях, она радостно согласилась, крепко поцеловав его, и это был их первый поцелуй, а потом, когда они почти через полмесяца вернулись из этого путешествия и были уже близкими, родными, он предложил поехать с ним в Москву.

Он всегда считал, что она была благодарна ему за то счастливое свадебное путешествие через тайгу и тундру к эвенам, к этим ковбоям и последним кочевникам Севера, но ошибался, она больше всего запомнила бессонную ночь, которую провела с ним валетом, хотела его и злилась, что он уснул, откинув руку на табуретку, а не ей на ноги. А он так и не признался, что не стал целовать её и обнимать в отместку за того парня под окном.

К ним спустился немолодой уже, но крепкий человек с густой красивой сединой в зачёсанных назад обильных чёрных волосах, очень похожий на японца своей плотной, светлой, желтоватой моложавой кожей строгого, тонко очерченного лица, может быть, его лет или старше, и приветливо предложил погладить Пеликена по животу: *И будет вам счастье*, улыбнулся он.

Пеликен, вырезанный в человеческий рост из тополя, стоял за его спиной, покрытый красным лаком. *Да я уже погладил*, ответил он.

Заходите в музей, предложил человек, указывая на деревянные ступеньки, поднимавшиеся к площадке, выходившей к зданию музея.

Можно с собакой? — спросил он.

Можно-то можно, ответил мужчина, так же улыбаясь, *только там наша, как бы не испугала.*

Он взял Тусю на поводок и вошёл следом; посредине светлой, сложенной из кругляка, заставленной и завешанной предметами быта северян комнаты стояла длинношёрстная высокая акита, по-волчьи пригнув большую тяжёлую голову с ухоженной львиной гривой, уставившись на его собаку. Туся сделалась сразу маленькой, несчастной, писнула от страха, спряталась за хозяина и уже из-за его ноги храбро и в то же время не очень уверенно тявкнула.

Айна, свои, так же дружелюбно сказал ей мужчина.

Акита обошла нас, обнюхала Тусины следы и легла у входа.

Из будочки, там, где, видимо, находилась касса, выглянул темноволосый, чернобровый и при этом светлоглазый и бледный, по-девичьи красивый подросток, спросил важно тонким детским голоском, будет ли он брать билет.

А что, можно не брать?

Мальчик кивнул.

Он отдал ему пятьсот рублей и сказал, смеясь: *На развитие!*

Деда, высунулся подросток из окошечка*, мне дать ему десять билетов?*

Нет, Максим, сказал деда, снова коротко улыбнувшись, *напиши на билете: «Получено пятьсот рублей на развитие» и распишись.*

А какой породы ваша собака, спросил мальчик.

Он заметил, что Максим при этом глядит в сторону, обходя его взглядом.

Просто дворянка.

А наша — акита, вы не смотрите, что шерсть длинная.

Я знаю, сказал он и похвалил, чтобы сделать Максиму приятное: *Настоящая длинношёрстная акита. Я в Москве знал одну такую.*

Она добрая, только вид грозный, пусть ваша собака не боится, вы не думайте!

Туся, ты не бойся, сказал он Тусе.

А вы знаете Норштейна, он в Москве живёт, спросил вдруг Максим, не глядя на него.

Он догадался, что Максим, видимо, аутист и потому избегает смотреть в глаза, но мальчику понравилось, что незнакомец похвалил его собаку и потому решил поддержать разговор, правда, без предисловий.

А какого Норштейна? спросил осторожно.

Он нарисовал заставку к Спокойной ночи малыши в 1999 году.

Нет, Максим, не знаю, и я давно уже не смотрю «Спокойной ночи, малыши!».

А вы знаете, почему Заяц в его заставке делает так? Максим, по-прежнему обходя его взглядом, приложил палец к губам.

Не знаю, Максим.

Это значит: молчи, никому не говори. Это очень страшная заставка, было очень много жалоб на Норштейна от детей и родителей, и потому заставку сняли в 2001 году.

Максим, не приставай, человеку нужно ещё музей осмотреть, сказал деда.

Меня зовут Арсений Сергеевич, и я не спешу, сказал он, *мне даже очень интересно разговаривать с вашим внуком о художнике Норштейне. Я и не знал о таком.*

А меня зовут Степаном Ильичом, представился деда.

Он нарисовал ещё ёжика в тумане, добавил Максим.

И тут он вспомнил, что слышал о Норштейне и видел его «Ёжика в тумане», который получил приз на каком-то кинофестивале, мультик ему очень понравился, особенно когда все его герои потерялись в тумане. И ёжик, и сова, и лошадь.

Дед улыбнулся и сказал: *Хотите, Максим проведёт для вас экскурсию по музею? Он тут всё знает.*

Арсений согласился, и Максим повёл его по залам, у него при этом была совершенно взрослая чужая речь, возможно, он подражал кому-то, с профессиональными интонациями и оборотами, он помнил все даты, когда и от кого эти вещи попали к ним, и не то чтобы щеголял этим, а, казалось, у него в голове всё разложено по этим временным полочкам, как будто он сам из той эпохи. Это было странное ощущение: детский голосок и взрослое знание и понимание всего того, о чём он рассказывал.

Арсений, слушая, проникался уважением к этому ребёнку и одновременно ощущал почему-то жалость и сочувствие к нему как к человеку одинокому, не понятому, у которого впереди трудная жизнь.

От Максима он с удивлением узнал, что эвены были не только язычниками и берегли свои традиции и обряды, но уже четыреста лет — православными и считали главной книгой Евангелие от Матфея, перевод которой на эвенский, сделанный в 1889 году священником Стефаном Поповым, как сказал мальчик, хранится в музее.

Арсений попросил подержать в руках эту книгу, изданную в Казани в 1892 году. Она была в чехле из замши и помещена в короб, сделанный из какого-то странного материала.

Это береста, подсказал дед, *просто её долго варили.*

Арсений спросил: *Где находится отдел образования, не в Администрации района?*

В другом здании, через мост, под сопкой, сказал Степан. *А вам там кого?*

Кристину Фёдоровну Долганову.

Зачем она вам, насторожился вдруг Степан.

Я писатель, из Москвы, фамилия моя Иванов, собираю материал для книги о её муже.

Я вас провожу, как-то торопливо, оглянувшись на внука, сказал Степан.

Когда они выходили, Айна коротко тявкнула.

Это она с вами попрощалась, объяснил мальчик, погладив Тусю, *а вы в каком году родились, какого числа и месяца?*

Арсений удивился, но ответил и спросил в свою очередь, можно ли Тусю с ним оставить.

Мальчик охотно согласился.

До свидания, попрощался Арсений. *Я скоро.*

Максим не ответил, гладя Тусю.

С тобой попрощались, подсказал Степан.

До свидания, очень тихо рассеянно ответил мальчик.

Он немного аутист? спросил Арсений на мосту.

Что, так заметно?

Да нет, у меня жена работала в московской школе для одарённых детей, и я научился отличать. Многие почему-то без напоминаний не здороваются и не прощаются. Как будто сразу отключаются. Или не включаются, улыбнулся Арсений.

Есть такое, согласился Степан. *Максим — сын Кристины Фёдоровны,* огорошил он Арсения. *И я хочу вас предупредить, она совсем не расположена к общению, и тем более об... этом. Слишком свежо всё. Вы должны понять.*

Да, я понимаю. Но и меня поймите, книга нужна сейчас... И указ президента о присвоении вышел...

Тут такое дело, Степан остановился и достал из кармана трубочку с длинным мундштуком, раскурил её, глядя на вспыхнувший под пеплом огонёк, *она против войны. Против этой войны. Она даже не смотрит новости, там постоянно говорят о потерях, об их потерях. Это жестоко, считает она. Не по-христиански. У них тоже есть жёны, дети и матери. Добивать Украину, это всё равно, что добивать больного ребёнка. Так она это видит. И это не они убили Иннокентия, а мы, все, кто за войну, — правительство, президент. Люди.*

Арсению показалось, что Степан с Кристиной согласен и прикрывается пересказом её слов.

А они — по-христиански? сказал он тихо, чувствуя, как его накрывает, как поднимается вместе с застарелой болью *за пацанов (мы вас туда не посылали)*, волнами бешенство, отчаяние, как с ним случалось, когда ему начинали перечить в чём-то очень важном для него, *по-христиански резать на животе женщины свастику, насиловать и резать, давить головы пленным колёсами грузовика, бить очередями в спину нашим старикам, детям?*

Ну, вот, видишь, завёлся! И как ты с ней будешь разговаривать? усмехнулся, перейдя на «ты», Степан.

А так и буду, сказал, сжимая зубы, кулаки, напрягаясь, гася гнев. Готовый уйти, наплевать на них. А получилось, что хочет ударить, напасть.

Ну и ну, удивился Степан, *ты что, тоже больной? С пол-оборота завёлся!*

Да, контуженный, вдруг согласился он, как бы извиняясь, раскаиваясь, *а кто ещё... больной?*

Боюсь я за неё. Как бы рассудка не лишилась. Любила она его очень, с болью, руганью любила. Всё бросила ради него. А он ушёл на войну, сказал Степан.

На две войны. Ещё и Сирия. Хотела уехать от него, не смогла. Тут ещё что. Её первый муж погиб на сплаве, и теперь она думает, что это не совпадение, а её вина... опять же с сыном... в церковь ходить стала, Бог, говорит, меня испытывает. Евангелие от Матфея — настольная книга у неё. Я-то не против. Но... Надо любить врагов своих, говорит. Помните, как там: возлюби врага своего, как самого себя, и тебе воздастся. Ещё начнёт деньги им посылать. Посадят за госизмену. Она всё-таки чиновник. Вот и всё испытание. Жалко её, она ведь лингвист талантливый, кандидат наук, а докторскую тоже забросила, хотя весь материал у неё под рукой.

Они остановились на взгорье возле двухэтажного голубенького домика на низком, осевшем фундаменте, обшитом вертикальной узкой искусственной доской. За домом протекала мелкая речка, должно быть, та же, что и возле музея. За речкой, почти от воды начиналась сопка — возвышалась над всем селом. Он вспомнил это место, где-то недалеко должно быть учительское общежитие. Там была эта же сопка. И они поднимались на неё, смотрели на село, расчерченное на квадраты, и тайгу за ним, бескрайнюю, до горизонта, на двуглавый Ичинский вулкан, целовались. И не только. Он даже почувствовал возбуждение.

Я с тобой пойду, разведу, если сцепитесь, сказал Степан и натянуто улыбнулся.

5

Вошли в маленькую приёмную с компьютером и принтером на столе. У двери в кабинет начальника отдела стоял одинокий стул. Степан постучал и тотчас же открыл дверь. Навстречу встала высокая крашеная блондинка в лёгком платье и кроссовках. Туфли на каблуках, заметил он, стояли возле сейфа. Это была она, через мгновенье понял Арсений. Женщина из купальни.

Здесь, в тени кабинета, она показалась красивой, но потом Арсений разглядел две вертикальные короткие морщины между длинными слегка насупленными бровями, усталый взгляд близоруких светлых *тоже* глаз. И лицо её, показалось, как-то разом померкло, как будто в люстре над головой погасли лампы. Но высокую округлую грудь, плоский живот и красивый мягкий греческий рисунок бёдер и талии платье подчёркивало, притягивало взгляд.

Арсений слегка смутился — она заметила, как он невольно засмотрелся на неё и быстро, как вор, отвёл взгляд. Он так и не понял, узнала ли она его в одежде.

Мы с Максимом дежурим в музее, он за кассира, сегодня заработал уже пятьсот рублей, улыбнулся ей Степан, усевшись на стул возле двери. *А это*, он указал на Арсения, *писатель, товарищ Иванов, Арсений, из Москвы, пишет книгу об Иннокентии.*

Ужасная война, когда-нибудь она закончится? сама у себя спросила Кристина, коротко взглянув на него. *Или вам тогда не о чем будет писать?*

Он сделал вид, что не заметил её злой иронии.

Ну, вы же знаете, не мы её начали, мы её заканчиваем, сказал он неохотно.

Я этого не знаю, я только вижу, как мы друг друга убиваем.

Это справедливая война: против нацистов, против бандеровцев. Тех, кого не добили в сорок пятом, сказал он и с неудовольствием почувствовал, как банально и избито это прозвучало.

А сами почему не воюете или вы только пишете?

Он промолчал, пожал плечами, подумал разочарованно, злясь на себя, что разговора с ней не получится.

Арсений хотел присесть рядом со Степаном, но тот подтолкнул его ближе к столу, к Кристине.

Расскажи ему, как с Иннокентием познакомилась, попросил Степан.

Очень просто, как-то равнодушно и послушно начала Кристина, *его прислал ко мне в Институт Севера Степан Ильич*, она плавно, сверху вниз, повела рукой в сторону тестя, *я думала придёт маленький, как он*, оживилась вдруг Кристина, *а пришёл двухметровый и красивый, как из Голливуда, только наголо бритый... увидел и смутился, засмотрелся, и я не могу глаз отвести. Чуть не описалась. Ребёнка от него захотела. И поняла, что он, большой и красивый, себя не ценит. Он сказал, что вечером уезжает в Москву, я испугалась, что он уедет и я его больше никогда не увижу, и он останется с первой, кто его приберёт, если уже не прибрали, а я буду только страдать по нему. Бросила конференцию и повела к себе. И трахнула его, чтобы запомнил, чтобы приворожить*, грубовато закончила она.

Ну-ну, сказал Степан, *шуточки у тебя. Он приехал тогда из Сирии, и она попросила его выступить на конференции на эвенском языке.*

Степан погрозил ей костистым пальцем.

И что, выступил на эвенском? спросил Арсений.

Ещё как, выступил с большим успехом, тётки кипятком писали, а я повезла его домой и трахнула, как я уже сказала, в этот раз она усмехнулась.

Арсений подумал, что она так дразнит Степана, чтобы ушёл. А может, и его. Но никто не уходил.

И тогда она ему прямо сказала: *Папа, идите к Максиму, не оставляйте его надолго. Вы меня смущаете, я товарищу московскому ничего лишнего не скажу, не волнуйтесь. А если и скажу, то добрый человек, вы ведь добрый, это сразу видно, писать не станет, иначе какая я буду вдова героя. Верно?*

Арсений только кивнул, он чувствовал себя как-то неуютно, и не из-за её нарочито грубоватой речи, а из-за странного подтекста всего происходящего, который он сразу же *почувствовал*, как только Кристина заговорила. Будто с ними был ещё кто-то, кого она подразумевала и кто при этом её защищал от всех, что бы она ни говорила и ни делала.

Степан Ильич поднялся и, воспользовавшись тем, что Кристина пригнулась к тумбе стола, предостерегающе прижал палец к губам, и он невольно вспомнил Максима и его Норштейна с ёжиком в тумане.

Кристина закрыла за тестем дверь на защёлку и встала перед Арсением, прислонившись к столу. Он заметил, что на ней нет колготок, а кроссовки были на босу ногу. У него без носков потеют ноги.

Что, в одежде не узнал? Или ты следил за мной, чтобы присмотреться, может, если повезёт, и трахнуть вдовую, оголодавшую? Узнал, что я по утрам туда бегаю?

Он промолчал, почувствовал себя школьником у директора школы. Не стал говорить, что только ночью приехал.

Ну ладно, давай, расскажи о себе, чтобы разговор получился, а не интервью, сказала она, подтолкнув его по-свойски, как ровесника, коленом.

Чем тебя интервью не устраивает? полюбопытствовал он, тоже переходя на «ты».

Ну, интервью — это что-то официальное, обязательное.

Ну да, согласился он.

Ты женат? спросила она. Только честно, знаю я вас...

Женат, но она уже три года в Америке, к сыну уехала.

А ты?

Что я?

Один, без женщины?

Ну да, ответил он и добавил неуверенно, вдруг почувствовав фальшь: *рукоблудием занимаюсь.*

Она положила руку ему на плечо. Тёплую.

Успокойся, я тоже, сказала, *два года.*

Почему столько-то?

Полтора года война, полгода — веранда, она вздохнула.

Какая веранда?

Поселился на веранде. У него осколок горячий в сердце был. Запаялся. Или приварился. Врачи и запретили.

А ты?

Не подходила к нему, боялась, что заведусь и убью его, я ведь сумасшедшая бываю, себя не помню...

Она замолчала. Слёзы на глазах.

Вот и поговорили, зачем-то сказал он.

Она села на стол и тихо позвала его. Он не услышал, понял, подошёл, она, переминаясь на ягодицах, глядя ему в глаза, медленно сняла трусы, бросила на стол, на бумаги. Притянула его за ремень, распустила.

Точно сумасшедшая, подумал он.

Не хочет? Спросила и наклонилась, дунула, как на горячее.

Сейчас, сказал или подумал он. Она с ним, как с родным, своим, облегчённо и благодарно понял он вдруг. И больше ни о чём не думал, пока не почувствовал, что сейчас кончит.

Пожалуйста, не останавливайся, попросила она и сильно, руками, ногами, притянула его к себе, вздрогнула, потом ещё несколько раз.

Нет, я ещё хочу.

Она промолчала, только сильнее сжала его бёдра ногами, на мгновение открыла потемневшие яркие сумасшедшие глаза.

Кажется, к ним стучались несколько раз.

Уйди, немедленно, сказала она.

Он перевёл дыхание и удивлённо посмотрел на неё. Глаза, полные слёз.

Уйди, а то закричу.

Он вышел и услышал из-за двери её глухие рыдания.

Он спустился к речке и шёл по самой кромке заросшего нежной светлой травой берега до широкой глубокой заводи с зелёным медленным мусором на ней, иногда оступался и попадал в воду, но не чувствовал холодной воды в кроссовках, он чувствовал другое: в нём росло, распускалось что-то большое, неудержимое и одновременно горькое и до слёз счастливое.

Он зашёл в музей, чтобы забрать Тусю. Та пристроилась на коленях у Степана, просунув голову ему под руку на какие-то верёвки. Степан о чём-то спросил его, он услышал, но не понял, кивнул, он чувствовал и слышал лишь Кристину — ярко, тепло, тесно и влажно, а всё остальное было за пеленой, едва пропускающей звуки и свет.

И он совсем не удивился, что Степан и Максим ведут его к себе, ему показалось даже, что очень долго, хотя их дом был сразу за лужайкой музея. Его посадили на диван в горнице, и он заметил только маленькую иконку Богоматери в углу. Должно быть, уснул, слышал, чувствовал сквозь сон, как где-то рядом ходит Кристина, запах её духов, её сильного крепкого тела.

Он проспал на диване остаток дня и ночь и встал только к обеду, такое с ним случалось редко, только после долгой разлуки с женой.

Ему оставили записку, написанную детской рукой, что все на работе, а в четырнадцать часов его ждут в Доме Культуры на встрече с жителями района и военными. Он помылся, побрился, надел гимнастёрку, прогулял Тусю и велел ей ждать в доме, но она не хотела, пыталась проскочить мимо ног, когда он осторожно приоткрывал дверь.

Он шёл не торопясь, чувствуя ещё вчерашнюю пелену, думал о своём инфантилизме, о женской части своей души, о том, что он, как, должно быть, и Иннокентий, сходится только с теми женщинами, которые сами выбирают его, ведя себя как захватчицы, о своей писательской талантливости, если она ещё есть, связанной именно с этой, женской частью его существа. Он думал, знал, что никуда не уедет без неё, напишет не только биографию её мужа, но напишет о всех: о Степане и Максиме, о ней. Он уже чувствовал, как тяжело, трудно ворочается в нём, в его душе, переплавляясь, перетекая, его тоска по ним, отголоски их боли и любви.

Он намеревался задержаться, чтобы пропустить официальные речи, а потом воспоминания близких, всегда трудные, нагоняющие слёзы и женские сопли. И когда, наконец, приоткрыл дверь в зал, то увидел белый экран, уходящий бронетранспортёр, сидящих на нём бойцов с автоматами и титры с фамилиями авторов телевизионного сюжета.

Он втиснулся в группу молодых, оживлённых, невысоких, как подростки, эвенов, свободно стоявших у входа, и хотел пройти по краю, вдоль стены, но его, поверх чёрных голов, заметил майор, который передавал ему в штабе флотилии копии документов на подполковника Иннокентия Степановича Долганова, и жестами велел идти к нему, указывая на проход по центру зала.

И Арсению пришлось выпрямиться, разогнать к спине привычным движением пальцев вдоль ремня свою гимнастёрку. Майор вытянулся, подобрав свой заметный круглый животик и, натянув на голову чёрный блин берета, крикнул: *Солдаты и матросы, равнение на середину! Отдать честь воину Афганистана, лейтенанту великой армии Советского Союза Арсению Сергеевичу Иванову!*

Зал дружно встал, захлопали сиденья, а матросы и солдаты, занимавшие левую половину зала, отдали ему честь. И держали руку у виска, пока он шёл к Степану, Максиму, Кристине. И она обняла его, сказав в самое ухо: *Какой же ты старый хрыч, Арсений Сергеевич Иванов!*

Часть вторая

Внук шамана

...И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык...

А.С.Пушкин, 1836 г.

1

Папа сказал, что у меня «синдром Аспергера», но это ничего, от него страдают даже математики, и это не мешает им решать свои задачки. Мне это тоже не мешает, хотя я и не понимаю, что такое горе, счастье или друг.

В первом классе, 1 сентября 2022 года, меня посадили с Полтораниным, мы вместе вышли из школы, и я сказал папе, что это мой лучший друг. А папа объяснил, что лучший друг — это тот, кто готов отдать за тебя жизнь, а ты за него. А если ты всего лишь сидишь с ним за одной партой, то это просто одноклассник.

Папа был прав, на физкультуре Полторанин сдёрнул с меня трусы и стал показывать пальцем и говорить ха-ха-ха, а учительнице сказал, что это я сам снял трусы. Она меня отругала и пожаловалась папе. Друг бы так не сделал.

Я стал думать об этом и понял, что учительница считает меня тем, кто может ходить без трусов, раз я не такой, как все. И я сказал ей, что не люблю ходить без трусов. Она посмотрела на меня так, как будто забыла, кто я такой и не могла вспомнить. А Полторанин, когда мы бежим наперегонки и я обгоняю его, ставит мне подножку и всем говорит, что я опять валяюсь на полу. Один раз я скатился с лестницы под ноги завучу, она пожаловалась маме. Не знаю, почему он так делает, может, его кто-то заставляет? Папа говорит, что иногда в детей вселяется злой дух и заставляет их делать что-нибудь нехорошее. Мне кажется, папа имел в виду и меня.

После этого он ушёл на войну. Он должен был уйти раньше, но ему очень хотелось проводить меня в школу 1 сентября.

Я до четырёх лет не знал, как люди улыбаются. Папа объяснил, что надо раздвигать губы так, будто говоришь cheese.

Папа говорит: ты должен знать правду о себе, без этого не сможешь бороться со своей болезнью и общаться с людьми и одноклассниками. Но об этом не обязательно говорить другим.

Полжизни назад, 13 января 2018 года, когда мне стало пять лет, папа сказал: *Ты уже большой и должен «встать рядом с нами на Тропу забытых предков».*

И мы с тех пор вместе собираем наше Древо. А мой дед, Ильич-динозавр, режет его на доске племени, которую повесили в музее.

Мы с папой посылаем письма, спрашиваем своих близких и дальних, нам помогают другие эвены из нашего села Эссо, из Тигиля и Каменского и даже эвены из Якутска, Магадана, Аяна и Охотска. И мы нашли уже больше тысячи Долгановых. Живых. 1011 человек.

Я должен знать, когда кто родился и когда умер, — все знакомые, не только эвены. И кто кого старше. Если я этого не знаю, мне становится плохо жить, и я не могу успокоиться, пока не узнаю. Вот Александр Сергеевич Пушкин, он первый написал в стихах об эвенах, родился 6 июня 1799 года, а умер 10 февраля 1837 года. И я думаю, что он младше Льва Николаевича Толстого, который родился 9 сентября 1828-го, а умер 20 ноября 1910 года. И оттого, что я это знаю, мне хорошо.

Единственный человек в мире, о котором я не хочу ничего говорить, это Полторанин.

Я знаю, когда родился Ильич-динозавр, когда родилась и умерла моя бабушка, я знаю дни рождения и смерти многих великих людей и моих родственников. А ещё я помню, какой век. До или после Рождества Христова. И знаю многие столицы мира от древности до наших дней. А ещё я умею говорить по-английски, по-украински, по-испански и по-эвенски. И даже по-китайски. Просто мы ездили с мамой в Китай, в Хунь-чунь, жили в отеле Ваньхао. И пока она лечила зубы, я ждал в торговом центре О-я, играл там на площадке с китайскими детьми, и от них научился говорить.

А ещё я знаю, что Макдональдс открылся в 1940 году, а Гримасшейк появился в 1971-м. А сейчас во Владивостоке вместо Макдональдса — «Вкусно и точка», и там тоже есть хэппимил, он появился в 1979 году. Мы были во Владике с мамой, когда летали провожать папу на войну, а потом поехали в Китай на автобусе. Я очень люблю картошку фри и наггетсы. И фиолетовый Гримасшейк, но выпиваю всегда только половину, чтобы ночью *он* меня не съел.

Папа сейчас дома, его ранили на войне, и он всегда ждёт нас на веранде, пока мы выгуливаем оленя Ваську.

Папа говорит, что в древние времена я мог бы *подрабатывать летописцем* (cheese) и написать потом свою «Повесть временных лет». Как монах Нестор (родился в 1056-м, а умер 1114 году). Этот монах узнал даже где-то, что первый славянин родился от сына Ноя. А вот кто был первым эвеном, не знает никто. *Может быть, ты когда-нибудь узнаешь,* сказал папа, *ведь ты очень упорный.*

Да, я могу с утра до вечера бросать камни в реку и не устать. Папа говорит, что этого не делал ни один человек в мире. А я хотел узнать, почему камень падает в реку, а не летит прямо. И ещё я досчитал до тысячи. По-честному, прибавляя по единице.

Папа считает, что первым эвеном был маньчжур или тунгус. А Ильич-динозавр сказал, что они были последними тунгусами или маньчжурами, а не первыми эвенами.

Это было в XX веке, но до Рождества Христова. Когда у людей были другие имена, когда были славяне, но не было русских и украинцев. А чукчи, коряки и ительмены были *палеазиатами*. И это значит, что они пришли в Сибирь раньше всех. И многие из них перебрались в Америку, стали индейцами. А мы в те времена были маньчжурами, а якуты — *тюрками.* Мы пришли с Юга одновременно с якутами, и поэтому всё время с ними воевали. И они нас победили.

Но папа знает, кто был первым эвеном на Камчатке. Его звали Михаил, и он был сыном шамана *Эмгени из Долган.* Вместе с ним был *Коярк из Уяган*, они — начало нашего камчатского Древа.

В 1761 году эвены стали кочевать от Индигирки на Колыму. Они спасались от голода, якутов и белых волков. И перешли через Срединный хребет на Камчатку. Через глубокие летние снега. И белые волки утонули в них и отстали. Поэтому, сказал Ильич-динозавр, на Камчатке волки не водятся.

Так эвены первыми оказались в Срединной стране. Тихой, с быстрыми реками, среди высоченных лиственниц и елей. Люди о ней не знали. Они приходили на Камчатку через *Парапольский дол* и сразу попадали в Большую долину — страну *Уйкоаль.*

Поэтому в Срединной стране до нас никто не жил, кроме Зверя и Духов. И у этого места, рек и гор не было названий. И Великий шаман постучал в Бубен и попросил у Бога им имена. Так реки стали *Уксичан* и *Анавгай*, долина — *Эссо*, что значит «лиственница», а самой высокой зелёной сопке дал русское имя — Дунькин пуп. Это было в 1852 году, число и месяц люди забыли.

Папа говорит, что эвены — это последние кочевники Севера. Губернатор Камчатки — адмирал Василий Степанович Завойко — родился 15 июля 1809 года, а умер 28 февраля 1898 года, разрешил им поселиться в Срединной стране. И повелел корякам и ительменам, жившим в стране Уйкоаль, эвенов не трогать.

Мой прадед, дед, папа и я — Долгановы, и поэтому в нашем роду рождаются шаманы, как Эмгени. Они могут общаться с духами. И я знаю, что Ильич-динозавр, Степан Ильич, 11 октября 1948 года рождения, — на самом деле шаман, хотя и работал *председателем райисполкома*, и папа, Иннокентий Степанович, 5 апреля 1983 года рождения, — тоже. Он закончил военное училище в Рязани, его ранили в Сирии, работал у нас военкомом. Потом снова ушёл воевать, его снова ранили, и теперь он ждёт нас на веранде и пишет книгу.

Кроме папы в нашем селе есть ещё писатели-шаманы, но я знаком только с одной из них — это бабушка Аня, Анна Семёновна Иванова (родилась

в 1949 году, 7 ноября), — поэт. Она торгует на рынке овощами и своими тоненькими, как школьные тетради, книжками со стихами. Раньше, до войны, они иногда *обменивались опытом*, и бабушка жаловалась: *Чтобы печатать книжки, пенсии не хватает, приходится продавать огурцы, помидоры, всякую зелень из теплицы.*

Я стихи не понимаю, там слова стоят не на своём месте, запоминаются плохо. Особенно те, что задают в школе. А вот книги помню наизусть, могу пересказать Евангелие от Матфея на эвенском языке, Мифы древней Греции и Севастопольские рассказы. Из них только первый, он похож на то, как будто блогер рассказывает о войне в Крыму.

Моё любимое место — это мастерская Ильича-динозавра, где он режет пеликенов, кутхов для музейного магазина и натягивает на берёзовые обручи бубны. Мастерскую дед называет избой. Он срубил её из лиственницы. Она длинная, 10 метров, узкая, 3 метра, и низкая — 1 метр 80 сантиметров. Папа проходит её пригнувшись, уклоняется от ламп. Но изба очень тёплая зимой и прохладная летом.

У входа стоит маленькая *чугунная финская* печка с окошечком в дверце, папа говорит, что она ровесница Ильича-динозавра. Её ему подарили финны по какому-то гранту. А сразу за ней начинается длинный гладкий стол через всю избу. На нём подсыхают берёзовые, ольховые и черёмуховые чурочки для поделок и лежит ещё много чего: бивни, рога, кости и клыки, разбитые каменные шары с фиолетовыми аметистами внутри. Это *друзы* из Паланы. И чёрный Начикинский обсидиан. Когда-то коряки делали из него ножи и наконечники для стрел. В самом углу, у окна, станки: токарный, точильный, циркулярка и старая бормашина.

Под стол задвинут высокий барный стул, его дед купил для меня. Каждый день я сажусь, верчусь и смотрю, как он режет свои поделки, или сам леплю из китайского пластилина Радужных друзей, как показывают блогеры с Украины, из Англии и Испании. Ильич-динозавр не любит, когда я их смотрю, удивляется, как я понимаю их языки. Запретил смотреть Рому из Киева, который сказал, что Россия враг Украины. Россия воюет за русских, их убивают на Донбассе, поправляет меня дед. А я его уговариваю вместе снимать блог и рассказывать, как я леплю монстров-детей из garten of banban, а он — как резать пеликенов и кутхов, но дед пока не соглашается.

За спиной, на противоположной стене избы, сушатся готовые белые бубны. Их сделали на заказ для артистов, но самый главный, коричневый, родовой бубен лежит на полке в углу. Его не трогают и не продают. Я знаю — это бубен Шамана, моего прадеда, Ильи Иннокентьевича Долганова, родившегося 11 февраля 1917 года и умершего 13 февраля 1996 года. Если бубен потревожить, он долго, как лес, шумит. Папа говорит, что когда-нибудь этот бубен станет моим.

Из избы мы с Айной заходим домой, стучим папе в окно веранды, он поднимает голову, машет нам, у него на коленях ноутбук. Мы знаем, что ему нельзя мешать, он должен срочно закончить свою историю, и стараемся не отвлекать его разговорами. Забираем Ваську и сразу уходим — задними дворами,

мимо машин и оставленных прямо на дороге детских игрушек, самокатов. Идём через речку вброд.

Я люблю идти по холодной воде, поднимать брызги, отдыхать от жары. Вода холодит колени, приятно хлюпает в кроссовках. Мы поднимаемся по лужайке, идём мимо купальни. Иногда останавливаемся, чтобы посмотреть на туристов. Как они жгут костёр. Как пытаются подозвать нашего белого Ваську. Как к ним приезжает с продуктами на «Патриоте» новый хозяин нижнего магазина. Его зовут Ахмед, и он всегда предлагает нам купить у него жвачку.

Да, забыл сказать, сразу за избой — районный Музей, его *попечитель* — Валерий Александрович Данилюк, 13 февраля 1947 года рождения, наш сосед и родственник, его сестра Елизавета Александровна Данилюк, 29 марта 1954 года рождения, умерла 1 апреля 2012 года, моя бабушка. Они с Украины, из Виноградова, столица Киев. Ильич-динозавр с ним часто спорит, они даже кричат друг на друга через забор, но он всё равно просит деда проводить экскурсии для *важных* туристов.

В Музее построено эвенское стойбище, «рыбалка с *вешелами*» для рыбы и сетей, стоят корякские нарты. И манекены в эвенской одежде — кафтаны с расшитыми бисером передниками и хвостом. И стойбище, и рыбалку, да и сам Музей *ставили* со строителями Данилюк и Ильич-динозавр, в точности такое же стойбище и рыбалка у нас есть на реке Киче, только больше. И скоро *дед и компания* туда поедут на лошадях, четыре дня пути, двести километров. А я не хочу, я был на «рыбалке», там говорят по-эвенски, нет компьютера и вайфая, только рация, генератор и солнечные батареи. И папа в этот раз не едет, он вернулся с войны раненым, ему нельзя уезжать далеко от больницы.

2

Учительница и одноклассники на меня ругаются, и я им тоже говорю, что они сами больные на голову. На улице я иногда подхожу знакомиться к детям туристов, говорю, что меня зовут Максим Иннокентьевич Долганов, 13 января 2015 года рождения, спрашиваю имя, отчество, фамилию, число, месяц и год рождения. Некоторые сразу убегают, другие смеются.

Может быть, их пугает или смешит моя Айна, собака породы акита-ину, 24 августа 2015 года рождения. Эта порода называется *аборигенной*, акиты — близкие родственники волков. *Ты заметил, что Айна*, сказал папа, *когда играет, хватает за пятки, как будто хочет перегрызть сухожилие? Так делают волки, когда гонят оленя.*

Айна добрая, любит улыбаться и показывать свои белые острые клыки. Но собаки в селе её боятся: только она посмотрит на них внимательно, они и прячутся за хозяев, некоторые ещё так завизжат, будто она их укусила. Местные увидят её и уходят в свои будки, как от медведя. Так было, когда в село весной забежал косолапый, — все собаки попрятались, только Айна одна погнала его за реку.

У Айны отец из Польши, он тигровый, чемпион России. Его насмерть порвала стая *дворян*, когда он был на привязи на даче. Он тоже троих порвал,

а одному перекусил заднюю лапу. А мама у неё тоже чемпион России, из Загорска, рыжая. Айна в неё. Дед купил её задорого, для меня, хотел, чтобы она была одна такая на всё Эссо. Привёз из города двухмесячной. *В выводке их было восемь*, сказал папа, *когда Ильич-динозавр приехал выбирать щенка, все побежали к нему, чтобы он их взял, стали лизать ему руки. А Айна отвернулась, и дед её выбрал.* Всю дорогу до Эссо, пятьсот километров, Айна спала, и дома всю ночь спала. А утром дед проснулся — кто-то его лижет. Это была Айна. *Щенок определил меня хозяином*, гордился дед, но недолго: Айна оказалась бракованной — длинношёрстной. Такие иногда рождаются у чистых акит.

Они бракованные для разведения, а на самом деле — редкие, самые преданные, умные, почти как люди, и благородные, говорит папа.

Деда иногда ворчит на Айну, говорит, надо было взять её брата, Юку. Тот стал чемпионом России и даже интерчемпионом, ездит на выставки по всей стране и даже за границу, всех побеждает. Дед в Айне разочаровался, с ней не разговаривал, пока она медведя не прогнала и всё село её не зауважало. А ей было всего полгода. Он поселил её во дворе в большом вольере с настилом и тёплой будкой. Айна могла входить туда и выходить, когда захочет. Днём она спала там на полу, а ночью — в снегу, сворачивалась клубочком под моим окном, даже в тридцатиградусный мороз. И только когда меня начинает *клинить* и я кричу, Айна рвётся в дом, ко мне.

Папа не отпускает меня в лес или на реку без неё, она никуда не отходит, хотя считает хозяином Ильича-динозавра. Когда мне было три года и первый раз *заклинило* — я упал на дорогу и стал кричать, — мне казалось, что сейчас всё упадёт: дома, лес, сопки. Меня уговаривали мама, папа, но я не вставал, кричал ещё сильнее. Тогда деда велел всем уйти и спрятаться за сугробом. Все спрятались, но Айна осталась и стала лизать в нос. И у меня всё прошло. С тех пор все заметили, что Айна всегда оставалась со мной, охраняла и никогда не бросала. Я думаю — Айна мой лучший друг.

Ильич-динозавр говорит, шаман Эмгени был *припадочным*, падал у костра с бубном и кричал. Говорят, так он увидел путь на Камчатку через Срединный хребет и узнал, что в чумах будет тепло без костра — от земли, а горячие ключи в ней — исцеляющие. Папа сказал, что Эмгени был первым лекарем и лечил всех, особенно тех, кто много ходит и бегает за оленями: эвенов, чукчей, коряков, якутов. И поэтому слава о нём разошлась по всему Северу — от Камчатки до Аляски, и имя его сохранилось. И Срединную страну стали называть Долиной счастья не только эвены.

Ваську, 9 мая 2015 года рождения, мне подарили в год, когда я родился, так положено у эвенов. И теперь все олени, которые от него родятся, — мои. Ему девять лет, живёт в стаде. Но увидит меня — бежит, хоркает ноздрями, дышит мне в лицо паром и становится передними ногами на колени, если я кладу руку ему на голову. Он думает, что я хочу сесть на него. Мне сказали, что он и умрёт вместе со мной, в тот же день. А я знаю, что олени живут мало, не как люди.

Его привели в село, чтобы я на нём уехал в стойбище на лето. Но я хочу остаться с папой.

Мама ссорится с папой из-за войны. Мама против войны. И папу не пускала. А папа сказал: я военный и не допущу, чтобы моему сыну пришлось воевать. Мама сказала: тогда я уеду и Максима заберу. Маму звали в город, в министерство. Папа сказал, что у неё *шашни* с министром, а мама говорит, что он её не ревнует только к фонарному столбу. Мама очень красивая, знает, как и я, английский язык, а ещё немецкий и эвенский, и работает начальником всех школ у нас.

Папа всё-таки ушёл на войну 5 сентября 2022 года, вернулся раненым 15 марта 2024 года.

Папа сказал, что в нём остался маленький осколок от бомбы. И что вытащить его пока нельзя. Папа должен был лежать в госпитале, но он не захотел, и его привезли в долину Счастья. Его вынесли на специальной кровати с *электроприводом*, чтобы он мог сидеть, а от крыльца дома до улицы военком Сергей Иванович Шалашов, 12 мая 1985 года рождения, майор, велел проложить тротуар из досок. Когда врачи улетели, папа сам вышел на веранду.

«Тебе же, нельзя...» — сказала мама, но папа приложил палец к губам и сделал cheese.

Он и сейчас там, сидит в кресле-качалке, Ильич-динозавр сплёл его за пять дней из *имукэта*, молодого тальника. Папа пишет книгу в своём ноутбуке. Или просто смотрит на чёрный экран, как в зеркало, или на лес, или на Дунькин пуп — тот показывает погоду. Сегодня за него цеплялось облако — это к дождю. Или разглядывает свои руки: растопыривает пальцы, сжимает и разжимает их. Смотрит на них и чему-то удивляется, хмурится, будто что-то недоделал.

Мы ходили в лес кормить Ваську. Тот поднимал своими толстыми губами ягель и хватал листья с кустов дикой малины и красной смородины.

Сегодня Айна всё время оглядывалась. Остановится на дороге перед поворотом и смотрит назад. Нам с Васькой приходилось её звать. А к обеду я сам заскучал по папе. Мне казалось, что он стоит на веранде, как в тот день, когда прилетел на вертолёте, и зовёт нас всех. И я тоже стал оглядываться в лесу. А когда мы дошли до середины поляны, где любили лежать под старой рябиной, Айна стала лаять и звать домой. Начался крупный редкий дождь, и мы пошли домой. И чем ближе подходили к селу, тем громче Айна звала нас.

Папа сидел на крыльце, волосы у него были на лбу мокрыми от дождя и прилипли. Он привалился к перилам и смотрел мимо нас куда-то очень далеко. Солнце светило ему прямо в глаза, но он даже не щурился. Я видел только его голубой, как у хаски, глаз. Правый у него тёмно-серый, почти коричневый. Мама мне рассказывала, что, когда папа родился, приходили старики посмотреть и говорили, что он будет великим эвеном, как Эмгени. У него тоже были разноцветные глаза.

А Айна толкала передними лапами верхнюю ступеньку и лаяла в открытую дверь, как будто там кто-то стоял. Но там никого не было, и у меня стало очень холодно в груди. Как будто мне положили лёд, и я знал, что папа ушёл на *Хоашен*.

Первым прибежал Данилюк. И Айна теперь лаяла на него, как будто защищала папу, потом пришёл Ильич-динозавр и закрыл папе глаза.

Потом пришли другие, скорая помощь, милиция, военные. И Айна лаяла и рычала на всех, не подпускала к папе, пока Ильич-динозавр не увёл её в дом. И она стала скулить, сначала тихо, потом всё громче и громче.

Дождь перестал, и когда я оглянулся, то увидел большую радугу над Счастливой долиной, над всей нашей Срединной страной. Крутую и яркую. Наверное, папа тоже видел её.

И я вспомнил, когда собаки умирают, люди говорят, что они ушли на Радугу. Не хочу, чтобы так сказали про Айну.

3

У папы осколок застрял в сердце, но так, что его нельзя было достать, даже сильным магнитом, он был очень горячим, и сердце прилипло к нему. И поэтому папе нельзя было ходить. Он никому об этом не сказал. Мама как-то узнала, что папа хотел выйти из дома и посидеть на солнце, он очень любил, когда солнце в дождь. Но у него рука соскользнула с мокрых перил, он упал на ступеньку, и осколок пробил сердце. Папа умер мгновенно, он даже не понял, что умер.

Мама сказала, что книга, которую он написал, — для меня тоже. Я сразу стал её читать, и вдруг услышал его голос. И потом, когда я закончил, он продолжал говорить. И теперь папа постоянно разговаривает со мной. Он говорит и о том, чего нет в книге, о том, как я был маленьким и поэтому ничего об этом не помню. Ещё папа рассказывает, каким я стану, потому что он знает обо мне всё, даже то, что ещё не произошло, но об этом нельзя никому говорить. И это не какой-то там дух, а папа.

Данилюк спросил у военкома, почему папе дали орден Мужества, а не Героя России, ведь замполиту, который погиб в том бою, дали Героя. Наверное, потому что не погиб, сказал Сергей Иванович. Но теперь-то он погиб, от того осколка, который прилетел тогда, ответил Данилюк. И не учли, что это он вызвал огонь на себя, а главное, не учли, что он эвен, был бы первый эвен Герой России.

В документах не значится, что он эвен, значит, он русский, сказал Сергей Иванович. *У нас сейчас, кем хочешь, тем и записывайся!*

А там значится, что отец его Степан Ильич Долганов — эвен? Да даже если они все значатся русскими, мы-то знаем, что они эвены, закричал Данилюк, *и тебе пора бы вспомнить, что у нас национальный район! Он так и называется: Быстринский национальный район. И в переписном реестре в администрации они значатся эвенами! А как бы тогда Степан Ильич получил рыболовный участок на Киче, если бы не был эвеном? Ещё шестьдесят лет назад, когда их писали русскими. Или сами писались. Вы там в министерстве обороны совсем политически не подкованы? Не могли как следует составить представление на награду? Я Путину на вас напишу!*

Пятьдесят семь лет назад, а не шестьдесят, сказал я Данилюку, но он меня не услышал, а может, и не увидел, посмотрел как на пустое место.

Рыболовный участок Долгановых на Киче открыли в мае 1966 года, мне об этом говорил Ильич-динозавр, и так вырезано над дверью бани в стойбище.

Папу хотят похоронить на кладбище, и даже яму для него выкопали, а он мне сказал, что его надо сжечь на костре на берегу Уксичана, и пепел должны отдать мне, чтобы я развеял его в нашем стойбище. Я сказал об этом маме, но она только обняла меня и заплакала.

Тогда я сказал Ильичу-динозавру.

Так решили военные, это их приказ, на кладбище пойдём колонной всем селом, а папу повезут на лафете, будет почётный караул и прощальный салют из автоматов, так у них положено по уставу, сказал Ильич-динозавр и обнял меня.

Я вырвался и отошёл.

Ты чего, удивился дед.

А папа сказал сжечь и пепел отдать мне.

Когда он сказал?

Когда умер. И он ещё в книге написал.

Покажи.

Я показал: Я, Иннокентий Степанович Долганов, 5 апреля 1983 года рождения, гвардии подполковник, завещаю сжечь моё тело на берегу Уксичана, прах передать моему сыну Максиму Иннокентьевичу Долганову и развеять над Кичей в родовом стойбище.

А раньше нельзя было показать?

Я думал, ты знаешь... он тебе разве не сказал?

Не сказал. У нас погибшие дети с отцами не разговаривают.

Почему?

Потому что дети раньше отцов не умирают. Не должны умирать раньше.

А когда Илья Иннокентьевич умер 13 февраля 1996 года, он с тобой разговаривал?

Разговаривал.

А сейчас он с тобой разговаривает?

Не разговаривает. Нет, вру. Я сейчас вспомнил, он меня предупредил, что папа твой скоро... уйдёт к верхним людям. Когда я спал. А я проснулся и забыл.

Деда вдруг молча заплакал и отвернулся. Он был небритым, слёзы растекались по седой щетине, и мне захотелось вытереть ему лицо.

Потом мы пошли к маме. Деда забыл закрыть на ключ избу. Я сам закрыл. И решил его называть просто Ильичом. Без динозавра.

Деда спросил: *А когда папа с тобой разговаривает, слышишь ли ты, как зовут бубны?*

А как они зовут?

Обыкновенно: там-там-там, бум-бум-бум...

Я слышу их ночью, когда закрываю глаза. Они где-то далеко-далеко. Думал, это лес так шумит. А когда Илья Иннокентьевич умер 13 февраля 1996 года, они стучали?

Не помню, сказал деда, и я понял, что он не хочет говорить. *Это нечестно*, подумал я, но ничего не сказал.

К главе района Виталию Петровичу Войтенко мы пошли втроём: я, мама и деда. Деда был в галстуке, чёрном костюме, мама в чёрном платье. А я в школьной форме. Когда мы пришли, в приёмной сидели знакомые люди, они быстро встали и пропустили нас вперёд. Ильич снова молча заплакал. И когда мы зашли к главе, он ещё стискивал зубы и потому не мог ничего сказать.

А я подумал, раз я не сказал никому, что папа попросил его сжечь, и поэтому военные приказали его похоронить на нашем кладбище, то я и должен всем всё объяснить. И я сказал, что папа хочет, чтобы его сожгли. Глава района меня не понял и посмотрел на маму, тогда она объяснила, что папа оставил завещание и попросил не хоронить его, а сжечь и прах развеять в стойбище на Киче. Я показал главе последнюю страницу в книге папы с его завещанием и подписью.

Я думаю, мы можем это решить сами, сказал глава, *только переговорю с округом, с вице-адмиралом Василием Александровичем Шуманиным. Не беспокойтесь.*

Когда мы уходили, я спросил: *В каком году и какого числа вы родились?* Глава очень удивился и сказал: *28 августа 1980 года.*

Виталий Петрович, объяснила ему мама, *Максим у нас ведёт свою устную летопись Счастливой долины, и вообще...*

А Шуманин когда родился?

1 апреля 1970 года, сказал Виталий Петрович, полистав в телефоне.

Какой молодец, похвалил Виталий Петрович и пожал мне руку.

4

«На войне я много думал о своей жизни и понял, что самое главное в ней — это ты, мама, дедушка и все мои родные и близкие люди. Ты знаешь, я хотел написать книгу обо всех нас, чтобы другие люди, которые будут после, знали, о чём мы думали, кого любили. Я с самого детства очень переживал, что когда мы все умрём, нас забудут, как и всех остальных, кто был до нас. Сгниют наши деревянные дома, на их месте построят другие, хорошо, если в них будут жить твои дети и дети твоих детей, хорошо, если в них тоже будут жить Долгановы и они построят свои дома.

На войне я постоянно думаю о вас, о нашей долине Счастья. Помнишь, как мы ходили на рыбалку, ловили за мостом с косы гольцов и кижуча и ты обижался, что у меня рыбы больше...

И теперь я думаю, что когда-нибудь нас не будет — ни дедушки, ни мамы, ни меня, ни даже тебя, — а речка наша останется, останутся эти лиственницы и ели, Дунькин пуп и снежные вершины на горизонте. И вся эта наша огромная родная земля будет тысячи и тысячи лет, даже если её захватят наши враги.

Наши враги — это те, кто ненавидит Россию, а нас не считают людьми. Они говорят, что наша земля слишком большая и богатая и было бы справедливо её у нас отобрать. Эти люди — не немцы или французы, не украинцы или американцы, эти люди — фашисты.

И эти люди — звери, потому что хотят убивать нас и наших детей, чтобы нас осталось ровно столько, чтобы мы могли им прислуживать и работать на них.

Они дадут свои названия нашим городам и сёлам, нашим деревьям и рекам, сопкам и горам. И всюду поставят памятники своим вождям-фашистам. Мы должны будем забыть свой язык, свою историю, своих гениев. Они напишут для нас другую историю, в которой лишат нас наших достижений и наших побед.

Это будет история рабов.

Вот о чём я думаю на войне. Вот о чём я думаю, когда стреляю из автомата или целюсь из гранатомёта, мёрзну со своими бойцами в мокром окопе или волоку через взорванную лесополку своего раненого друга. Вот о чём я думаю, когда нас окружает враг, а мы израсходовали весь боекомплект, и я прошу по рации наших артиллеристов ударить по нам из Градов».

5

Папу провожала вся долина. Приехало много военных из города, вице-адмирал Василий Александрович Шуманин, 1 апреля 1970 года рождения, он оказался лысым дядькой; папин друг с фронта, тоже раненый, он вынес папу из окружения, — гвардии старшина Иван Сергеевич Окольчишин, 3 сентября 1999 года рождения, пожарный из нашего села.

Приехали ученики из Анавгая, и наша школа пришла, наш класс с учительницей, Светланой Сергеевной Довгалюк, 9 апреля 1993 года рождения. Теперь школа будет имени папы, Иннокентия Степановича Долганова. Папа в ней тоже учился.

Мама не захотела, чтобы с папой прощались в Доме культуры, *летом там сыро и мрачно*, сказала она и попросила поставить гроб на улице возле нашего дома, рядом с Музеем, в тени цветущей рябины.

Как и все дома в селе, наш срублен из лиственницы, и поэтому он тёмно-коричневый, как будто загорел на солнце, в янтарных потёках смолы. Он состоит из двух квартир, в одной, бо́льшей, живёт Илья-динозавр с дядей Сашей, младшим братом папы, Александром Степановичем Долгановым, 29 марта 1985 года рождения, и его семьёй. Они на лето уехали в Кичинское стойбище, заготавливают рыбу и пасут оленей, на похороны не успевают — оттуда четыре дня пути. В другой квартире живём мы. Двор у нас общий, с большой термальной теплицей, с маленькими качелями и пластиковой зелёной горкой. На них катаются мои младшие двоюродные брат и сестра — Лиза и Кирилл, 2 декабря 2021-го и 10 апреля 2019 года.

Дядя Саша у нас больше всех похож на эвена, но плохо говорит по-эвенски, он всегда загорелый, невысокого роста, метр семьдесят пять, и очень сильный, в дедушку, может один поднять и нести трёхметровое толстое бревно. Он учился в университете и работал в школе историком, потом передумал *сеять доброе и вечное*, закончил курсы ветеринаров и уехал в стойбище. А папа, говорит Ильич, пошёл в бабушкину родню — он длинноногий, высокий, два метра без трёх сантиметров, но тёмный. И при этом — настоящий эвен, хвалился деда. Охотник и рыбак, метко, навскидку, стреляет, может достать белку, не повредив

шкурку, знает язык, родовые обычаи, повадки всех зверей в долине, и душа у него прямая и благородная. Как у Айны, — это я думаю, что они с Айной похожи.

Айна живёт на нашей стороне, в вольере, но это только для виду, она ходит везде: днём в вольере, в тени, а ночью у меня под окном. Айна заходит даже в теплицу, где растут огурцы, помидоры и виноград, но ей там жарко, как и в доме, она откусит огурец и сразу уходит.

Всё это время она скулила, не ела, лежала в горнице под кондиционером, а на третий, в день похорон, вдруг перестала и даже зашла на веранду, легла в кресло-качалку папы и стала вылизывать себя, как будто она дулась на него, а сегодня простила.

Чудная собака, ворчит деда, *другие воют, а эта плачет, как человек, одно слово — бракованная.*

Мне по секрету он сказал, что Айна, как шаман, или сиамская кошка, видит призрак умершего человека, который, прежде чем уйти на *Хоашен*, три дня после смерти бродит по родному дому, тоскует, даже хулиганит, наливает воду в сапоги, открывает кран, дверцы шкафов и холодильника на кухне. Это особенность аборигенных восточных собак. И ещё он сказал, что, когда мне исполнится тринадцать или четырнадцать лет, я тоже увижу призраков.

Возле Музея поставили зелёный пикап «Патриот» с громкоговорителем в кузове, и кто хотел мог что-нибудь сказать в микрофон о папе.

Для нас возле гроба поставили три стула, накрытые чем-то красным, и мы сидели под цветущей рябиной рядом с папой, с другой стороны добровольно стояла бабушка Аня, поэтесса, плакала, отгоняла метёлочкой полыни мух и ос, роняла на чёрный мундир жёлтую пыльцу.

Люди приходили с розами, они росли во всех палисадниках села, клали их на папу, и скоро накрыли цветами весь гроб и даже бархатную вишнёвую подушечку с орденами и медалями. Цветы падали на асфальт, пришли морские пехотинцы в чёрной форме и плоских беретах, стали перекладывать цветы на длинную скамейку. Но скоро гора цветов образовалась и на скамейке, и возле гроба. Я никогда не видел столько цветов. Это было очень красиво, особенно когда белые и алые розы лежали на чёрном мундире.

Я не запомнил, о чём говорили люди возле гроба, потому что думал о папе, об этих розах и что будет с ними, когда папу понесут к реке, за мост. Там сложили из берёзовых дров костёр, накрытый красными новыми простынями. Но я запомнил соседских двойняшек, Глашу и Сашу, 5 мая 2020 года рождения, они катались по очереди на самокате рядом со своим домом и громко ссорились.

А ещё я слышал, как во многих дворах на разных концах села перекликались, воя, собаки.

Когда заиграл военный оркестр, восемь морских пехотинцев — по четыре человека с каждой стороны, дружно подняли гроб на свои сильные высокие плечи и понесли к мосту. Впереди шли десять автоматчиков — парадным медленным шагом, выбрасывая вперёд ногу и тихо ступая на неё, позади гроба — оркестр в бликах от медных труб, потом мы, а за нами всё наше село, и из

Анавгая. Потом — ученики в белых фартучках и рубашках и детсадовская малышня, которая шумела, кричала своими тонкими голосами, они то догоняли, то отставали и несли в руках, роняя на асфальт, фиолетовые и синие цветы с соседнего поля.

Это были ирисы и люпины. Когда мы с папой ходили на рыбалку, всегда шли через эту лужайку, и я только теперь понял, почему он не разрешал мне рубить их самодельной деревянной саблей.

Гроб поставили на высоком широком зелёном берегу реки возле костра, на скамью, мама и Ильич-динозавр обняли папу и поцеловали, а я отстал, не смог тронуть его мёртвое тело.

Подошли эвены в летних, раскрытых, как халаты, кафтанах из оранжевой тонкой ровдуги, с красивыми, расшитыми бисером нагрудниками, и поставили гроб на костёр.

Откуда-то, наверное, из зелёной палатки, стоявшей ближе к мосту, выбежали парни и девушки в лёгких кухлянках и торбазах, за ними шли, ворочая широкими низкими п*о*пами, нарядные старые бабушки, стали ходить вокруг костра, притоптывая, взмахивая руками, как крыльями, и, слегка приседая, крича как чайки над нашим озером Икар, лица у всех были испачканы сажей, но я узнал в них артистов народного ансамбля из Дома культуры.

И тут одиноко заговорил бубен, я подумал, что это тот, из сна, но тотчас же увидел, как из-за костра вышел шаман в чёрно-белом похоронном кафтане, в деревянной маске, вымазанной сажей, из его повязки на голове, расшитой белым и чёрным бисером, вверх торчали чёрные перья ворона и свисали длинные шнурочки, в левой руке он держал большой бубен. Это был наш родовой бубен, а шаманом был деда, Степан Ильич. И сразу за ним поднялся огонь, загорелись простыни, береста на дровах. Скоро стало жарко, и все отступили к мосту и издалека охапками кидали цветы, они не долетали до костра, падали ковром на траву — это морские пехотинцы собрали их на нашей улице и принесли сюда.

А на бегущей реке стояло на месте отражённое пламя.

Шаман всё сильнее бил в бубен, он будто соревновался с треском и шумом огня, хотел его перекричать, и ему помогали артисты своим чаячьим криком.

Пламя стало опускаться, это сгорела береста. И тут вдруг рассыпался, рухнул куда-то гроб, но я заметил, что папы в нём уже не было. Костёр осел, провалился внутрь себя, миллионы искр поднялись к небу, река искр и огня... И в ней в сумерках плыл папа, смотрел на нас и размахивал длинными огненными рукавами. Я тоже помахал ему в ответ. И тут увидел, что танцую вместе со всеми — мамой, шаманом, бабушками, другими эвенами и детсадовской малышнёй.

А из оркестра одиноко, протяжно, сильно, совсем не в такт бубну, но красиво пела над притихшим селом труба...

6

«Когда ты родился, я долго не мог забрать вас из больницы, у мамы плохо заживал живот и не проходила температура. А ты лежал в палате вместе с другими малышами, и мама слышала, как ты один кричал и плакал, звал её, но тебя к ней не приносили, и её к тебе не пускали, потому что ей нельзя было тебя кормить.

И потом от того, что ты так долго напрягался в крике, у тебя появилась паховая грыжа, она тебя беспокоила, ты просыпался, плакал, мы тебя подхватывали из кровати на руки, и только после этого ты засыпал, можно сказать, что ты почти год спал у нас на руках, а не в кроватке, пока тебя не вылечил шаманскими заговорами и массажем твой любимый дедушка.

И это дедушка заметил, что ты никогда не улыбаешься, не смеёшься и часто плачешь, даже не плачешь, а кричишь. Дедушка посоветовался с другими стариками, и они все вместе определили, что тебя в младенчестве сильно напугали. Не люди. Духи, может быть, или гроза заглянула в окно роддома, что, впрочем, одно и то же.

Я подумал над их словами, и я сказал себе, что тебя напугало одиночество. Ведь в человеческой жизни так устроено, что младенца сразу же после рождения прикладывают к материнской груди, и вместе с молоком матери, её запахом он впитывает радость, счастье жизни, а когда у него это всё отнимают, он испытывает боль утраты, несчастье одиночества. Но когда всё это сменяет друг друга, человеческое дитя знает, что вслед за болью всегда приходит радость. И это закон жизни. Так устроен этот мир.

Ты был слишком долго для маленького человечка без материнской ласки, и ты решил, что одиночество — это закон жизни, а счастье, радость — это всего лишь награда, которую всегда могут отнять.

Я думаю, что синдром Аспергера, который определил у тебя профессор, это не болезнь, это препятствие, которое надо преодолеть и научиться быть счастливым.

Так получилось, что меня контузило на второй день моей войны, и болела, сильно кружилась голова, я не мог стоять, но я был очень рад, — ведь меня могло убить, мне сильно повезло, прилетел не осколок бомбы, а камень, и вместо смерти я оказался на отдыхе в госпитале большого города. Углом к нему был пристроен роддом. Когда нас начали бомбить, должно быть, “ждуны” сообщили врагам, что в больнице лечат контуженных военных, то ударили и по роддому из Хаймарса. Я не знаю, случайно или специально. Пострадало несколько женщин, одну убило. Конечно, враги объявили, что это мы сами себя бомбили. Роддом сразу эвакуировали, но оказалось, что из-за отключения электричества пострадали дети, которые были настолько малы, что не могли дышать самостоятельно.

Нас тоже перевезли в другую больницу, подальше от войны, но через несколько дней я вернулся на фронт попутной машиной. Я ещё плохо слышал,

кружилась и звенела голова, и было трудно дышать. И мне пришлось лежать в блиндаже, меня все ругали за то, что я сбежал из госпиталя, хотя ещё не вылечился. А мне стало легче, потому что на войне, среди своих морских пехотинцев, я уже не так задыхался, когда думал об этих малышах из роддома.

И я до сих пор думаю, кто виноват, что эти дети пострадали. Война виновата? Может, я тоже виноват, если бы меня и других военных не было в больнице, то враг не стал бы бомбить роддом? Ведь у врага тоже есть дети, и никто не хочет, чтобы они умирали.

И я думал о тебе, о том, что было бы с тобой, если бы рядом гремела не гроза, а взрывались ракеты? И что теперь с теми младенцами? Я не хочу знать, что они задохнулись и их похоронили.

И мне так хотелось отомстить за них... за ту жизнь, которую у них отняли.

Эта война делает из людей убийц. И потом нас не остановить».

7

В стойбище мы поехали на десятый день, на этом настояла мама, сказала, что на девятый день после похорон мы должны быть все вместе.

Утром меня разбудила Айна — деликатно лизнула руку, села рядом с кроватью и смотрела. Так она поднимала меня на рыбалку или в лес. Если я через пять минут не встану, она сделает громкое «вау» прямо мне в лицо. Это не зевок и не лай, и обозначает: давай, идём! А может и тявкнуть, и это будет обозначать: давай скорее! Ещё она может петь, когда воет сирена, едет «скорая» или деда затевает в дороге нашу родовую песню.

Вкусно пахло оладьями на кефире.

Деда, Ваня Окольчишин, Арсений и мама стояли у большого стола в горнице, она двумя окнами выходила на улицу, а третьим — во двор, где хватали траву у забора три чужие низенькие, но сильные якутские лошади. Они были накрыты *илруруном*, тонким летним потником из ровдуги, и хлестали себя длинными, почти до земли, хвостами — пугали слепней.

По улице бродили девятиклассники в ярких светоотражающих безрукавках, поднимали вчерашний мусор с асфальта и засовывали в зелёные мешки, заглядывали за обочины, в сухую канаву. Привядшие цветы они не трогали.

Я бросился во двор посмотреть Ваську, — если он под седлом, значит, мы сейчас же идём в стойбище.

Максим, крикнула своим учительским резким громким голосом мама, *а поздороваться?*

На Ваське было маленькое, из оленьей шкуры с толстым слоем меха внутрь, седло без стремян. Он наклонил ко мне свою потешно грозную голову с ветвистыми голыми рогами, хотел встать на колени, чтобы я сел на него, но я побежал назад в дом.

Я поклонился в правый угол горницы, где висела маленькая икона Богоматери, и перекрестился, как это делал папа. Он привёз её с войны, и она была с ним в госпитале, где он чуть не умер, но его спасли врачи.

Я не знаю, почему так сделал именно сейчас, ведь папа никогда не говорил мне делать это, и я никогда раньше этого не делал. Наверное, так я поздоровался с ним, через его икону.

Мама положила мне руку на голову, и я вдруг почувствовал, что у неё очень тяжёлая рука, как будто она оперлась на меня. И мама тоже перекрестилась на икону, поздоровалась с папой, и глаза у неё стали мокрыми.

Вслед за мамой перекрестились Ваня Окольчишин, Арсений и деда. Они тоже знали, что это папина икона.

Я взял два оладышка и стал есть стоя, обмакивая в прошлогоднее варенье из морошки, а потом в сметану. Я ел и смотрел на икону, маму, на папиного лучшего друга, на Ильича, и вспоминал как папа нахваливал за обедом нашу сметану, говорил, что она лучшая в мире.

Мне вдруг стало холодно, как будто кто-то положил лёд на грудь, и плечи сами собой передёрнулись.

Ваське к седлу пристегнули непромокаемую большую перемётную суму, пошитую Ильичом из пожарного рукава, с моими вещами: двумя майками и пятью трусами, тремя рубашками, двумя свитерами, двумя ветровками, двумя штанами, термобельём, пятью носками, женскими вейдерсами, которые деда переклеил под меня, ботинками тридцать шестого размера к ним с войлочной подошвой, для рыбалки, сапогами, чтобы ходить в дождь и по росе, дождевик и накомарник со шляпой. Свёрнутый керемат пристроили к седлу. Я подсунул сверху телескопический спиннинг на метр семьдесят, катушку со шнуром 0,2 и коробку с блёснами, крючками и грузилами, пакетик с пахучей американской пластиковой икрой, как это делал папа. В свой школьный ранец я запихнул две коробки пластилина, две тетради с карандашами и фломастерами, килограмм конфет «Белочка», пять пакетиков китайских мармеладок, чипсы со вкусом краба и пять маленьких пачек яблочного сока с соломинками, фонарик с солнечной батареей размером А4 для зарядки аккумуляторов. Деда посмотрел, но ничего не сказал, подвесил спереди седла кожаную узкую, но тяжёлую сумину с двадцатью пятью патронами двенадцатого калибра для помпового ружья и перекинул мне через плечо американский баллончик с перцовым газом — отпугивать медведя. Обычно он был у папы, и ещё у него был пояс с двадцатью пулями для «Калашникова».

Я люблю всё пересчитывать и запоминать. Я бы и деревья пересчитывал, и камни на берегу реки, и звёзды, если бы их можно было пересчитать. И ещё я запоминаю что где лежит, и поэтому, когда мы едем на рыбалку, охоту или в стойбище, все у меня спрашивают, и я всегда правильно отвечаю и прошу, чтобы они клали туда же, где взяли, чтобы не перепуталось. И мне это нравится. И другим тоже.

Мама подвела Ваську к крыльцу, я сел на него, и рюкзак за спиной лёг на свёрнутый керемат и не тянул за плечи.

Мама шла рядом со мной до самого конца села, до края асфальта, потом долго стояла одна на обочине прямой дороги под большой елью. Потом мы свернули в лес, и сзади стояли только огромные лиственницы.

Сначала впереди ехал деда, но лошадь, он называл её Зорькой, часто останавливалась и хватала высокую траву. Ваське не нравилось идти за ней, любил быть первым, он тыкался носом ей в зад и хотел обойти, но она, вредная, вставала поперёк Тропы.

Я попросил Ильича пропустить нас, но он промолчал, сделал вид, что не услышал. Я понял, что чужая лошадь не очень-то его слушается или голодная и строптивая, и он не хотел, чтобы я это заметил.

В следующий раз, когда его Зорька стала разворачиваться поперёк Тропы, я отпустил Ваську, и он ринулся вперёд, оттеснил боком куст шиповника и пошёл первым.

Он бы припустил рысью, но я придержал. До полян с ягелем ещё километров десять, Васька устанет, вспотеет и запахнет кислым. А так он ничем не пахнет, как Айна.

Айна где-то впереди, а может быть, и сбоку или сзади, но стоит её позвать индейским кличем, как она тотчас является, как будто из-под земли, спрашивает взглядом: что случилось? Удивительно, откуда Айна знает этот клич, я услышал его в фильме об индейцах, а она?

Сзади запел по-эвенски Ильич — о том, что мы едем вчетвером на Кичу и везём прах его сына, который погиб от осколка в сердце, во всём виновата война, страшная война, жестокая война, в которой гибнут сыновья... Слово «война» он пел по-русски. Я тоже не знаю «войну» по-эвенски.

Обычно прибегала Айна — подпевать и веселить нас, но в этот раз она не пришла.

Раньше, когда он пел, я думал о Бан-банах, или о Сонике, или о Супер-крыльях, Радужных друзьях, или о рыбалке, а сейчас я думаю о нём, о том, что он стал совсем старый, седой-преседой и тоже может умереть. Там он встретится с папой, почает со сгущёнкой и бутербродом с икрой и сливочным маслом, посмотрит сверху на нас, на нашу Счастливую долину.

Папа подарил мне на день рождения *крутой* навигатор Garmin, его можно ронять в воду, на камни и целый месяц не менять батарейки, я в него закачал наш Быстринский, Соболевский и Усть-Камчатский районы — почти всё западное побережье Камчатки и весь противоположный берег Охотского моря. И теперь навигатор показывает не только Тропу до Кичи, но и все речушки, ручьи, озёра, поляны в лесу и даже охотничьи избушки, как будто летишь низко на вертолёте. До перевала все ручьи впадают в Уксичан, Анавгай, они текут на восток — в Быструю, в большую Камчатку и в Тихий океан, а после перевала — в Кичу, Пымту, а Кича и Пымта на запад — в Охотское море. Я это и раньше знал от папы, но теперь увидел как бы сверху, со спутника.

И там совсем другая рыба: хариус с верхним большим радужным плавником, пятнистая кунджа, микижа, сёмга и чавыча.

Я знаю, что хариуса хорошо ловить нахлыстом, но мы с папой так и не научились, хотя купили в Городе нахлыстовый спиннинг и зелёный шнур. У нас на берегу везде растёт *имукэт*, тальник и *и-чэк* — шиповник, не размахнёшься, а ловить с воды трудно: течение слишком быстрое, только с косы,

а с косы и на блесну хорошо клюёт, даже лучше, чем на мушку. Папа сказал: *Да ну его, этот нахлыст, пусть иностранцы развлекаются, а мы по старинке...*

Мы на Киче рыбачили с японцами, они на вертолёте в стойбище прилетели, мы их обловили. Потом я понял, почему поклёвок было одинаково, но у японцев рыба срывалась чаще — у них крючок на мушке одинарный, а у нас тройник. Это нечестно. И я попросил папу на моих блёснах обломать два крючка, он хотел спросить, для чего, но не стал, догадался и зачем-то обнял меня.

Японцы рыбу отпускали, фотографировались и отпускали, даже гольца, его они называли палией. Его в реке полно, и он икру на нерестилищах жрёт, но мне это понравилось, мне всё-таки рыбу бывает жалко, вдруг она умная, особенно сёмгу, она краснокнижная, красивая, и её очень мало, редко попадается... Поэтому мы раньше её оставляли. А после японцев тоже стали отпускать и ловили её на одинарные крючки, с них рыба снимается легко, даже в руки не обязательно брать, она после этого не болеет.

Японец Сакамото, 20 апреля 1985 года рождения, ростом 1 метр 73 сантиметра, сказал мне, что у них есть учёные, считающие, что японцы и эвены — дальние родственники. *Но только вы с папой совсем не похожи на эвенов*, сказал он и улыбнулся. А я ответил: *У меня прадед эвен, дедушка эвен, значит, и папа, и я тоже эвены.* Японец засмеялся, потрепал меня по щеке, отвернулся к другим японцам и что-то им сказал, они тоже засмеялись. Хорошо, что он отвернулся, потому что у меня лицо онемело — так всегда, когда чужие ко мне прикасаются.

Рядом над нами захлопали по воздуху большие крылья, через секунду или две кто-то стрельнул из ружья, это был Ваня Окольчишин, он хотел ещё выстрелить, но я закричал — увидел Айну в той стороне и испугался, вдруг дробь в неё попадёт, но она тотчас же скрылась за деревьями. За ней побежал Ваня, я спрыгнул с Васьки и бросился за ними, на бегу звал Айну.

Ваня и Арсений побежали вокруг упавшей толстой лиственницы, а я пролез под ней через шиповник и увидел Айну, она держала за кончик крыла чёрно-синего глухаря, тот бился, хлопал другим крылом, хотел вырваться. Я бросился к ним и навалился на птицу, зажмурился, чтобы она не выклевала мне глаз. Ваня что-то сделал с глухарём, и он затих. Айна, не разжимая зубы, рычала на Ваню, не хотела отдавать добычу, она считала птицу своей.

Я знаю, что Айна, как и я, ещё никого не убила. Она могла только поймать, но никогда не хватала за горло. Мне всегда казалось, что она просто не знает, что дальше делать с добычей. Айна однажды поймала на речной косе чайку, тоже за крыло, на лету, та билась над ней, рвалась прочь, но Айна не отпускала, смотрела на меня, спрашивая, что делать. А я бежал к ним, махал руками, потом закричал: отпусти, отпусти! И Айна отпустила. Она не убивала даже мышей, которых любила ловить и играть с ними, пока они не затихали.

Айна взяла глухаря в пасть поперёк спины и понесла к деду, чтобы он сделал из него съедобное мясо. Она подошла так близко к Зорьке, что та закосила глазом, отпрянула, чуть не скинула Ильича.

Но-но, сказал он и полез с неё, навалился грудью на седло. Айна отдала ему глухаря, и деда привязал его к седлу.

Чтобы она видела, что никто его не съест без неё, чтобы не переживала, объяснил он Ване. *Хорошо стреляешь, быстро, но дробь мелкая, на куропатку, и больше глухаря не стреляй. Видишь, самка переживает*, дедушка показал на лиственницу с двойной вершиной, Айна стояла под ней, подняла голову.

На лиственнице, меж вершинок, высоко сидела рябая большая птица, качала длинной шеей. Она поняла, что мы все смотрим на неё, нырнула вниз и улетела, ловко огибая деревья и ветки. Айна за ней не погналась и ничего не сказала.

Шурпу будем вечером варить, пообещал деда, и мы поехали дальше. В тот день, до самого вечера, никого больше не встретили и не убили.

Меня учил стрелять сначала из воздушки, а потом из ружья деда. Из воздушки я научился попадать быстро, деда приклеивал пластилином спичку в крест оконной рамы и говорил, что если я попаду в стекло, то у меня не будет интернета целую неделю. Я сначала мазал в спичку, но попадал в раму, на следующий день попадал уже и в спичку. А из ружья я научился попадать почти сразу — с упора, а стоя не мог попасть целую неделю, приклад у ружья был тогда слишком длинный для меня, и оно тяжёлое. Но я приспособился, стал держать его на весу, без упора в плечо, и сразу попал в банку, поранил скобой большой палец из-за отдачи, надо было сильнее прижимать ружьё подмышкой. Я даже подстреливал на лету банки из карабина, которые деда подкидывал для меня. Но я не смог выстрелить в утку на озере. И вообще ни в кого живого. Ильич очень огорчился и сказал, что у эвенов есть поверье, если мальчик не может подстрелить утку, сидящую на воде, то он вырастет женщиной. Я так и не понял, как мальчик может вырасти женщиной. *А вот так*, ругался деда, *будешь не мужем, а женой!*

Ночевать решили рядом с ручьём в старой грибоварне под дырявым навесом.

Айну покусали комары, я побрызгал ей под хвост и издалека прыснул ей на лицо, но она просила ещё о чём-то. Мы с Ваней поставили палатку с пологом из сетки, зажгли китайскую спиральку от гнуса, и Айна сразу же нырнула в неё, довольная, улеглась на керматы и спальники. Когда Арсений поставил свою палатку, Айна всё у него проверила, обнюхала, но потом вернулась в нашу.

Деда тихо пошептал над глухарём, — наверное, просил прощения за Ваню; голову и крылья повесил на вершинке тонкой берёзки — наклонил её, а потом отпустил, перья спрятал в яму для мусора, потроха оставил на камнях возле ручья — для норки или соболя. Ему помогал Арсений, а деда рассказывал о папе.

Когда Ильич смолил газовой горелкой глухаря, сначала неприятно запахло палёным пером. Но этот запах вскоре перебился другим — лёгким вкусным запахом тающего птичьего жира. Деда как будто прочитал мои мысли, разделал глухаря на восемь кусков; и четыре больших — ноги, часть грудки, спинку — бросил в котелок вместе с рисом, помидорами и чесноком. А крылышки, прихватив к ним боковую часть грудки, перемешал с мелко нарезанной

черемшой, туда же добавил гузку с мясистым круглым задом, шею, соевого соуса из пакетика и оставил мариноваться в пластиковом боксе из-под бутербродов и оладушек от мамы, их съели по дороге.

Шурпа варилась больше часа, деда добавил в неё сначала лаврушки, потом укропа, кинзы, дал снова закипеть и поставил на стол, чтобы не опрокинули. Вышла Айна, обнюхала всех, увидела, что никто ничего не ест без неё, легла возле ланч-бокса. Время от времени она поднимала голову и прислушивалась. Деда разровнял угли, достал из сумины двойную решётку с ручкой, разложил замаринованные куски мяса и пристроил над углями. Через минуту снова вкусно запахло тающим лёгким птичьим жиром, он капал на угли, вспыхивал и тут же гас.

Айна вдруг встала, подняла кверху нос и побежала к Тропе. Ваня тоже встал, потянулся за карабином.

Там человек, не зверь, сказал ему деда.

А вдруг, ответил Ваня.

Если бы зверь был, она бы голос подала.

И тут Айна коротко тявкнула, зевнула.

Ага, сказал Ваня и взял «Калашникова».

Да человек это, знакомый. Поздоровалась собака, проворчал деда.

И правда, вскоре в сопровождении Айны подъехал всадник на жеребце, Зорька оживилась, зафыркала, мотнула головой.

Дарова, на эвенский манер поздоровался человек, *а я думаю, у кого так вкусно пахнет?*

Это был рыбинспектор с Кичи Сергей Макарович Вахрин, 3 июля 1983 года рождения. Он слез с лошади, сдвинул «Калашникова» за спину, обнял деда, помахал мне, пожал руку Арсению и подошёл к Ване, вопросительно протянул ему руку и спросил, прищурившись:

Ты, что ли, Ванёк? Дембельнулся с войны?

А что, изменился так за год? Ваня шагнул ему навстречу и обнял. *На похороны вот приехал.*

А что так, испугался Сергей Макарович, *из родни кто?*

Да нет, Ваня кивнул в сторону деда, *Иннокентий Степанович, комбат мой... вчера проводили... в последний путь... теперь прах его везём на Кичу.*

Вот беда, вот беда, расстроился рыбнадзор, *а я и не знал, у нас связи нет, рация сломалась. Простите меня, жалко Кешу, учились восемь классов вместе, в суворовское провожали, да и в рязанку, простите*, извинялся рыбнадзор, обращаясь то к деду, то ко мне.

Деда распахнул решётку, достал ножом запечённые куски глухаря, налил всем шурпы, достал из сумины фляжку, маленькие серебряные походные рюмочки и пригласил к столу:

Помянем, ребята, Иннокентия нашего.

Подошла и села возле него Айна, он протянул ей длинную глухариную шею. Айна осторожно зубами взяла и стала есть, легко захрустели птичьи косточки.

Айна очень любила человечью еду. Подсоленную, печёную или сладкую, только говядину ела сырой, даже тухлую. А дичь и всё пернатое — лишь приготовленное, желательно вымоченное или подтухшее. Ей не нравился запах птицы, она начинала чихать.

Деда одну рюмку выплеснул в костёр, наверное, папину, перекрестился. Они выпили молча и стали есть. Сначала шурпу, потом мясо. Я выпил сока и съел крыло, свою шурпу отдал Айне. Она не стала, ждала костей, которые собирал со стола деда.

Налили ещё по рюмке.

Я вот что думаю, сказал Ваня и крепко зажал рюмку в кулаке. *Что бы ни говорили по телевизору*, при этом он зачем-то поклонился Арсению, *война всегда против людей, и эта тоже. И поэтому простым людям она не нужна. А нужна тем, кто наверху. А почему она им нужна? Потому что они на стороне государства. И то, что хорошо для государства, плохо для людей.*

Ты, извиняюсь, чё, анархист? Как же без государства? Вдруг перебил Ваню Сергей Макарович. *Государство — это и армия, между прочим. Какая же Россия без армии?*

Вот-вот, усмехнулся Ваня, *слышу речи государственного человека. Ты меня тоже извини, Сергей Макарович, ты деньги получаешь от государства, и ты думать против государства не должен. И рыбоохрана, и лесоохрана — это тоже государство. И тоже против людей.*

Не против людей, а против браконьеров, обиделся Сергей Макарович. *Тут их знаешь сколько развелось, особенно когда война началась! Икра сколько стоит? До восьми тыщ за кэгэ доходит! А рыба сама плавает, ничего не стоит. Это как сундук золота без присмотра. Вот браконьеры и встали на Киче выше вашего стойбища*, Вахрин повернулся к деду, *Саня ваш пожаловался, рыбу шкереную к ним сносит, боится, что его обвинят. А икру вывозят на вертаке, ночью, слышали, вдоль Побережья летают. На широкую ногу поставлено, и не только на Киче, и на Пымте, и на других реках промышляют, почерк один: икру берут, рыбу в реку кидают, медведи не успевают растаскивать. Случайным свидетелям рты затыкают, уже несколько случаев пропажи людей на Тропе.*

Ну, это да, ладно, усмехнулся Ваня, *с ними ваши как-то решают, а вот нам, не браконьерам, не нацменам, без вашего разрешения скоро и в лес не зайти и ягодку не сорвать, да и рыбку на уху не моги... в своей-то реке.*

Да будет, Сергей-то при чём, сказал деда. *Не он же законы пишет. А бракуш слишком много развелось, это правда, глядишь, так и рыбу всю изведут.*

Все мы ни при чём, продолжил Ваня с каменным лицом, *но только всё поворачивает на то, что люди должны людей убивать.*

Как же ты с такими мыслями там воюешь? удивился Сергей Макарович, но голос у него был какой-то ласковый. *Злой ты, Ваня, стал, сердитый.*

Ваня не ответил, опрокинул в рот рюмочку. *За товарищей наших убиенных*, сказал он, выпив, *за друга сердешного, комбата моего Иннокентия Степановича.* Он посмотрел на кувшин с прахом папы, взял в руки. *Вот за них я воюю, за них*

жизнь отдам. Я хорошо воюю, ордена имею, а я не за них воюю, не за ордена, я вот за него воюю, он показал на меня кувшином, *и за него*, он показал на деда и Арсения, *и за тебя*, он больно ткнул в плечо Сергея Макаровича локтем.

Ваня поцеловал кувшин, посмотрел выше деревьев, странно дёрнулся всем телом, будто его ударили, и вдруг тихо заплакал. Просто слёзы покатились из глаз и потекли по щекам. Он обнял кувшин левой рукой, прижал к себе, к сердцу, а правой, рукавом, прикрыл лицо.

И все тоже заплакали, все, кроме меня и Айны. Подошёл сзади и лизнул в затылок Васька. Я его никогда не привязываю, а он и не уходит. Да, если что, Айна его найдёт и приведёт, он за ней сразу побежит.

И тут я заметил, что вышел на Тропу, стало совсем темно, солнце упало за лес, только узкая жёлтая полоска осталась впереди, но и она скоро погасла. Я лёг на мягкий тёплый мох, Айна стояла надо мной, заслонила звёзды, огромная, как слон. Где-то там, среди звёзд, папа. И я услышал бубен, он был ещё далеко-далеко, за лесом, может быть, над лесом, над Кичей, он звал меня... И я спросил у Ильича, слышит ли он, как зовёт бубен. Слышу, слышу, сказал деда, он не один, их много... И тут я проснулся, оказалось, что деда несёт меня в палатку, и бубны били уже со всех сторон.

8

«Я встретился с твоей мамой в Петербурге, 22 июня 2014 года, видишь, я помню, что тебе нужны даты, и поэтому уточнил у неё, помнит ли она, когда мы с ней встретились первый раз, и она сказала: это был день равноденствия, новый год по-эвенски.

И случайностью такое быть не может.

Мама тогда работала в Институте народов Севера научным сотрудником, а за год до этого она почти пять месяцев жила в нашем стойбище, у неё была этноэкспедиция в наш Быстринский район, но я тогда служил в Сирии, и о ней узнал из сообщения дедушки. Он очень хотел нас познакомить, написал, что нашёл для меня девушку, которая говорит по-эвенски, любит животных, не брезгует, даже слюни и сопли им подтирает, и при этом очень красивую, умную, а главное — простую, и поэтому попросил меня заехать к ней и передать ей посылку. А я собирался в Петербург после Рязани, где учился в военном десантном училище, и закончил его 4 июня 2011 года, хотел сделать предложение одной девушке, с которой познакомился во время учёбы. Если ты спросишь, какого числа она родилась, то я скажу, что 1 апреля, а вот не знаю, в каком году, и теперь не узнаю никогда, потому что я женился на твоей маме, а не на той девушке.

Я зашёл к твоей маме за день до отъезда в Москву, раньше никак не мог, жил целую неделю в Петербурге у друга, с которым мы служили в Сирии, он не отпускал меня и не хотел слышать ни о какой девушке в Рязани, ни об Институте Севера. Честно говоря, я и сам не очень-то к ней рвался.

Я тогда ещё не знал, что это не совпадение, а судьба была тебе родиться, потому что, если бы не друг, я не поехал бы в Петербург. И если бы не Сирия, у меня не было бы друга.

Мне стало стыдно перед дедушкой, что я целую неделю прогулял в Петербурге, но так и не зашёл. Я пошёл утром, потому что поезд на Москву отходил в семь вечера, и, хотя почти не спал всю ночь, вспомнил, что надо купить подарок от дедушки, пошёл на Невский, там в супермаркете продавали камчатские деликатесы, купил икры и балыка из нерки, попросил красиво упаковать и с этим пакетом отправился в Институт Севера.

Я ждал твою маму на большом каменном крыльце, там были ещё люди, и вот мимо меня проходит высокая, почти как я, она была на каблуках, красивая девушка со светлыми глазами, я всю жизнь на таких засматривался, а мне попадались маленькие и тёмненькие. А она меня даже не заметила, потому что кого-то высматривала. И я стал смотреть на дверь. Люди входили и выходили, и маленьких и тёмных среди них было много, но никто ко мне не подходил. В институте с утра начинается большая конференция по народам Севера, её специально назначили в день равноденствия — это праздник у всех северных народов. И мы стояли минут десять, я заметил, что девушка нервничает, и вот она набирает номер на своём телефоне, и тут зазвонил мой телефон. И оказалось, что она и есть знакомая дедушки — Кристина Фёдоровна Обухова, в девичестве Асмус, 24 августа 1987 года рождения, кандидат филологических наук.

Она ждала похожего на дедушку человека, думала, что я маленький. Я, когда мы договаривались по телефону, постеснялся сказать, что буду в военной форме, да ещё с орденом. И мы стояли на крыльце, смеялись друг над другом, и я зачем-то взял её за руку, а она повела меня на конференцию, усадила в первом ряду, а сама ушла по своим делам, я пробыл на конференции целый день, слушал доклады, но мне не было скучно, я думал о твоей маме и улыбался. Я даже забыл, что вечером у меня поезд.

А мама в своём докладе рассказывала о нас, о том, как мы начали кочевать на северо-восток в 1671 году от якутов и дошли до Чукотки, но там были воинственные коряки, и мы повернули на юг к Камчатке, одолели с оленями Срединный хребет и открыли свою счастливую Срединную страну, свободную от наших врагов и вообще от людей. И хотя мы отделились от других эвенов за высокими хребтами, мы выжили, по сегодняшний день сохранили свой язык и обычаи, во многом благодаря русскому адмиралу, первому губернатору Камчатки Василию Степановичу Завойко, и я хочу познакомить вас, сказала твоя мама, с быстринским эвеном, Иннокентием Степановичем Долгановым.

И я поднялся на трибуну к твоей маме, снова взял её за руку и сказал сначала по-эвенски, а потом по-русски, что приветствую участников конференции от имени военного контингента в Сирии, выполняющего свой интернациональный долг, и желаю успеха в большой и нужной для малых народов России работе. И тут все захлопали, многие даже встали».

9

Утром меня разбудила Айна, лапы и лицо у неё были мокрыми от росы. Арсений спал, то храпел, то всхлипывал, как будто задыхался, а Ильич и Ваня чаевали. Сергей Макарович уехал ещё до рассвета, и я вспомнил, как ночью он попросил деда: *Если кто-то чужой будет спрашивать обо мне, говорите, что не видели, не знаем*, деда что-то ответил ему, но я уже не слышал — снова уснул.

Я поел шурпы и немного варёной грудки, Айна доела за мной и лизнула мне руку. Мы с Ваней собрали палатку, упаковали спальники в гермомешки, собрали мусор, сожгли. И пока деда тёр в ручье осокой с песком котелок, Ваня и Арсений приволокли откуда-то сухую суковатую лесину и оставили её под навесом.

Обошли лагерь, посмотрели, не забыли чего, оказалось, оставили в траве газовую горелку, деда хлопнул себя по лбу.

Насмешила Зорька. Ильич подвёл её к старому пеньку от спиленной берёзки, чтобы с него сесть на неё, а она, увидев, что он закидывает ей на спину ногу, отворачивала голову и отступала боком. Пришлось Ване подержать её. Деда рассердился на неё, обозвал плохим словом на букву «б».

Да ходом надо было, подсказал ему Ваня, это значило — шагнуть на пенёк, а с него сразу на Зорьку, без остановки. В позапрошлом году деда так и делал. А в этом, видать, состарился, да и лошадь чужая.

Ильич ничего не ответил.

Ваня сказал, что после вчерашней езды у него жопа болит, у меня тоже болела, и ноги, и я был рад, что не сказал об этом первым.

В полдень мы сделали *торучин*, остановку, а потом привал, потому что я упал с Васьки. Ильич засмеялся и сказал: *Ты уснул на ходу.* Мне не хотелось признаваться в этом и пришлось возразить, что неудачно слез с оленя. Мы улеглись на кочках, деда и Ваня подложили под голову свои *ин* — самодельные рюкзаки из пожарного рукава с пришитым карманом под ружьё, и сразу уснули. Арсений достал старую кожаную тетрадь и стал в неё что-то записывать карандашом, а я забыл, спал или нет. Помню только — надо мной висела рыжая *картуска*, летучая мышь, смотрела из-под кожаных крыльев, Айна ворчала на неё, а папа сказал: очень душно, выпустите меня.

Я сказал об этом деду. Он странно посмотрел на меня, потом достал из своего *ина* кувшин в полиэтиленовом пакете, содрал скотч и замотал горловину марлей для процеживания икры. И сказал Арсению, который, как и я, следил за тем, что он делает: *Чтобы не отсырел и не слипся, кувшин-то пластиковый.*

Кувшин, уже без пакета, он засунул в рюкзак, снова обложил курткой, чтобы не разбился, если упадёт с лошади, догадался я.

Навигатор показывал, что мы прошли восемьдесят пятый километр, и Тропа повернула на юго-запад, и она уже не поднималась — мы дошли до перевала, и в конце, в узком просвете ущелья, поднимались вправо голые отроги хребта, а слева уходили вниз края зелёных увалов. Они были еле различимы, но я знал, *что* это, похожее на волны в море, идущие одна за другой.

Лес вокруг нас ещё тесно стоял к Тропе, поднимаясь на скалы, но уже появились берёзы, прямые и почти такие же высокие, как и лиственницы, среди них попадался и *дывэд*, каменная кручёная чёрная берёза с вывернутыми ветвями. И там, где его было много, тайга расступалась, прижимаясь к скалам, и открывала поляны, белые от ягеля. Деда всегда говорил, где *дывэд* — водятся духи, и поэтому легко заплутать в сумерках леса, если сойдёшь с Тропы, даже днём.

Ближе к отрогам Срединного хребта рос *дывэд* сразу по три, четыре и даже пять толстых стволов из одного корня, но с шелковистой белой берестой. Под ними, местами, недалеко от Тропы, говорил Ильич, ледники, вечная мерзлота; если лечь и приложить ухо, то можно услышать воду — отдалённую в глубине капель и журчание. Это запретное место, здесь наши предки строили *голины* — лабазы из жердей лиственницы с костями священных животных и оленей. И здесь нельзя ходить ночью — духи заведут в летние снега и открытые голубые ледяные бездонные трещины.

Над этими местами, где кончается тайга, возвышался призраком белый, всегда в снегу, священный *Хоашен* — Ичинский вулкан. Его двуглавая вершина поднимается за облака на высоту 3621 метр. Шаманы сказали, что он извергался последний раз в 1740 году, когда эвены подошли к Срединному хребту, и после этого больше не пугал их своим громом и огненными молниями, бьющими в небо, а не наоборот, и разрешил умершим подниматься по его склонам к верхним людям на третий день. И мы с тех пор почитаем его как *тор* — край наших умерших предков. И приносим ему *дары*. А он, в благодарность, показывает нам, откуда в этом году придёт *поветрие* — эпидемия, вытапливает в снегу с той стороны вершины тёмное пятно. В это лето оно с юга, там, где Австралия, столица Сидней.

Тайга расступилась, и мы вошли в *дывэд*, Тропа вновь стала подниматься, а потом, ближе к вечеру, упала вниз, обогнула увал с высоким цветущим шиповником и *болгит* — непроходимыми зарослями кедрового стланика, его ветки торчали в нашу сторону изумрудными новыми побегами на концах. Как будто стадо доисторических дикобразов повернулось к нам задом и дружно смотрело в Охотское море.

Мы вскоре снова оказались в роще каменной берёзы, она росла поперёк увалов, разрезая их широкой полосой. Ильич сказал Арсению, что когда-то, в древние времена, здесь всюду был ледник, он съехал к морю, оттеснил увалы, оставил только ручей, но потом его завалило в верховье вулканическими бомбами, и эвены проложили по *биракчону* — сухому руслу — Тропу. А ручей ушёл под землю и где-то в тундре впадает в Кичу.

Здесь Тропа была крутой и каменистой, заваленной по краям огромными, вросшими в землю круглыми чёрными камнями, её постоянно размывали дожди.

Лошади осаживались на задние ноги, копыта соскальзывали, и приходилось откидываться и держаться сзади за седло.

Пять километров мы с трудом одолели за три часа, я очень устал ехать без стремян, приходилось упираться коленями в бока Васьки, он почему-то приседал меньше лошадей, хотя был выше.

Наконец, мы прошли сквозь увалы и выехали на широкие плоские, цветущие жёлтыми, розовыми и фиолетовыми пятнами альпийские луга.

Тропа разделилась на две, правильнее будет сказать, что её пересекла другая: от рудника в горах, где старатели добывали золото, она, спустившись, здесь поворачивала и поднималась на запад, вдоль верхнего увала через берёзовую рощу на луга, к *Хоашену*. А наша — прямо и вниз. По ней нам идти 40—50 километров, а потом ещё 60 через старый берёзовый лес с черемшой, вдоль ручья, а потом реки — в кочковатую тундру с морошкой, голубикой, брусникой и жимолостью.

В тундре сами пасутся наши олени, их больше тысячи, может, и две. Это секрет. Если они уходят далеко, то дядя Саша с помощниками гонят их назад.

Дядя Саша просит Ильича, чтобы мы отдали им Айну, она сама научилась пасти оленей, потому что ещё щенком, когда ей было полгода, полюбила гонять оленей по тундре. Папа объяснил ей, что просто так их гонять не надо, а по команде, и стоит ему ей сказать «олени!», и она мчится за ними, как бы далеко они не ушли, и пригоняет всех: старых, больных и оленят, — никого не оставит.

Но деда знает, что я ни за что не соглашусь отдать Айну, ведь она мой лучший друг. Он говорит дяде Саше, что она домашняя и в тундре её закусает гнус. И это правда. Папа недавно предложил дяде Саше завести щенка, и Айна его выучит пасти оленей, но тот хочет такую же, как Айна, а за ней нужно ехать в Город, ждать, когда ей сделают все прививки.

Тропа ближе к реке расширяется, по ней уже два года ездят квадрики, а потом она становится обычной лесной дорогой, и по ней бегают джипы и даже грузовики от посёлка Кичи — он стоит на берегу Охотского моря. И там всегда холодный ветер и туман до полудня. Этот ветер достал бы и до нашей долины, если бы не Срединный хребет.

Папа сказал, что западные горы поднимают ветер с Охотского моря вверх, и он перелетает Эссо и над страной Уйкоаль, а на востоке другой хребет, он тоже длиной в 1500 километров и высотой до 3000 метров, и защищает от тихоокеанского ветра, потому в долине всегда тихо, как в аквариуме, воздух стоит прозрачной глыбой, нет пурги, а снег и дождь всегда падают прямо. И поэтому, сказал папа, к нам никогда не прилетит радиоактивная пыль от термоядерной бомбы.

И тут я заметил, что теперь Тропа расширяется уже здесь, от места пересечения, и по ней снизу кто-то совсем недавно поднимался на квадрике, а потом свернул к *Хоашену*, затоптал следы копыт.

Деда тоже заметил.

И Айна почему-то пошла вверх на правую тропу, вокруг рощи.

Я позвал её, но она отвернулась, сделала вид, что не слышит.

Деда и Ваня, а за ними и Арсений, объехали меня и встали на нашей Тропе,

поджидая Айну. А она вдруг подскочила к ним, стала прыгать, будто приглашала поиграть, тявкнула несколько раз и побежала вверх, оглядываясь. Деда сделал вид, что уезжает, тронул лошадь.

Айна остановилась и негромко залаяла.

Да, блин, зовёт нас собака, неужто непонятно, засмеялся Ваня.

Да понятно-то понятно, но там нам нечего делать, она просто упрямится, хочет, чтобы по её было, сказал деда, *а нам вообще-то вниз надо.*

А что там? — спросил Ваня и показал на Айну.

Там две избы, одна, если совсем вправо, для вулканологов и туристов, все туда прутся, а другая, вкруг берёзового леса, — к леднику, охотничья, там печка имеется, нары, если, конечно, кто-нибудь её не спалил или медведи не разорили, но потом придётся возвращаться, потому как если дальше по ней идти, то попадёшь на увалы, ну, а так крюк получается километров пять — если туда-обратно, сказал деда.

Да что нам пять километров, если ещё почти восемьдесят топать, обрадовался Ваня, *зато с удобствами, да и в избе всё-таки безопаснее, а то Макарыч пугал, медведя развелось немеряно. Молодец, собака, давай показывай дорогу*, Ваня махнул рукой Айне. Она поняла, затрусила, не оборачиваясь, по Тропе, а потом, через километр, сделала стойку, кинулась молча по высокой траве и вскоре подняла стаю серых куропаток. Они полетели на нас, и Ваня одной рукой выхватил не глядя из-за спины, из *ина*, ружьё и выстрелил два раза, потом ещё два раза — вслед.

Айна принесла первых, собрав их за шеи, а Арсений, красиво развернув лошадь, подобрал вторых. Он ловко запрыгивал на свою Красотку, очень хорошо управлялся с лошадью, лучше, чем мы все. И когда деда похвалил его, Арсений стал объяснять, что очень любит лошадей и в молодости, когда учился в Москве, ходил в какую-то Битцу, в конноспортивную секцию, и даже участвовал в соревнованиях.

Так вот зачем она звала, весело перебил его Ваня, *умная какая!*

Метко стреляешь, сказал деда, но он был скорее недоволен, чем доволен. Наверное, ему не хотелось возиться с куропатками после глухаря.

Снайпер — называется моя военная специальность, сказал Ваня, *я и коптеры так снимаю — на раз.*

Ильич подвесил птиц к седлу — двух справа, двух слева.

Ощипывать сами будете, сказал он.

И мы поехали за Айной. Она убежала вперёд.

Если что, больше не стреляй, попросил деда, *не сезон.*

Да ладно, это я так, сгоряча, давно не охотился, сказал Ваня. И вдруг, минут через пять, добавил зло: *В последний год — только на людей.* Обернулся, чертыхнулся, видно, забыл про меня, и перекрестился.

Избушка была заперта на навесной новый замок, кто-то приделал петли, с собой тащил, знал про избу, но не местный, или просто наглый, решил избу присвоить. И здесь машиной пахло ещё сильнее, чем на Тропе.

Айна обнюхала несколько масляных пятен на траве и убежала к леднику, куда вела еле видная в траве колея.

В избе кто-то ночует, но не живёт, чужой, сказал деда.

Это как? удивился Ваня.

Деда показал на свежий навес, пристроенный к южной, с окном, стене избы. Там стоял стол, обитый клеёнкой, с немытой сковородкой, крошками еды. Гора сухого, порубленного на поленья кедрача, возле стены были аккуратно сложены низкой длинной поленницей сырые берёзовые дрова, накрытые старой овчинной шубой, на ней сидели или даже лежали, как на диване. И тренога из арматуры, над тёплым ещё кострищем висел на цепи старый алюминиевый чайник. На навесе лежала солнечная панель форматом А2. *Человек тут поселился надолго*, сказал деда, *турист или охотник. И привезли его снизу на квадрике, а в избе чисто, только спальник лежит.*

Мы с Ваней заглянули в избу через окно, на столе стояли маленькая светодиодная лампа, кружка. На широких, в половину избы, нарах возле стола, лежал свёрнутый *кукуль* — спальник из оленьей шкуры.

Я пошел за Айной, она вырыла ямку в снегу и улеглась в неё, высунув язык, смотрела в сторону увала. Рядом были ещё ямки, в них просвечивали пластиковые квадратные контейнеры с икрой. Когда она успела? Айна очень любит икру, и мы ей всегда давали вылизывать двадцатилитровые контейнеры, она засовывала в них голову и работала языком до тех пор, пока не начинали блестеть. После неё даже запаха икры не оставалось.

Вид у неё был весёлый и гордый, она говорила: вот видите, как тут хорошо, икра есть и во все стороны видно, а там ещё и озеро с рыбой.

От озера между тем шёл бородатый человек со спиннингом, ружьём за спиной и тремя хорошими гольцами на веточке вместо кукана. Пока он шёл, Айна несколько раз садилась и вставала, но голос не подавала.

А ну, ушла, крикнул ей человек издалека, *уселась, а я там продукты храню!*

Айна наклонила голову набок, потом встала и грозно залаяла: *Я тут главная*, говорила она, *а ты проходи, нечего командовать!*

Ладно-ладно, я тут первый, а кто первый, тот и хозяин! весело крикнул человек, как будто понял Айну, и махнул кому-то. Я оглянулся.

Снизу к нам шёл Ваня.

Они поздоровались за руку.

Здравствуйте, сказал и я ему. Не знаю, заметил ли он, что Айна его икру откопала.

Он кивнул, посмотрел невнимательно, как на какую-то помеху. Айна, ворча, встала между нами. Человек отошёл и ногами загрёб ямки на леднике.

Мы переночуем тут, объяснил ему Ваня. Мне понравилось, как он сказал: не попросился, а предупредил. Ведь мы здесь раньше останавливались с папой, вставили пластик в окно вместо разбитого медведем стекла, а когда уходили, всегда оставляли сухие ветки кедрача, спички и сигареты. И этот человек не имел никакого права вешать на дверь замок. Эту избу построил не он, а приделывать навес его никто не просил. Да и в шторм в октябре его снесёт.

А вас сколько? осторожно спросил человек.

Четверо, не считая собаки.

Ну, такая за троих потянет, улыбнулся осторожно человек, *что за порода?*

Акита-ину, сказал я.

Эта, как её, Хатико, верный друг?

Да, обрадовался я. И хотел объяснить, что она лохматая и большая потому, что... но человек отвернулся, пошёл к избе.

Ильич и Арсений расседлали лошадей и отпустили их. Человек прошёл мимо них, ничего не сказал, только кивнул нехотя, недовольно, когда деда сам с ним поздоровался, вынес свой кукуль и расстелил на поленнице.

Хорошая вещь, подлизался деда.

На северах разжился, объяснил бородатый. И повернулся к Ване: *Вы в избе, а я тут*, человек улыбнулся ему, *меня Боря зовут.*

А меня — Максим, сказал я. Кроме меня никто себя не назвал, только кивнули.

Пока деда, Ваня и Арсений возились с куропатками, я отнёс в избу керематы и спальники, разложил на нарах, запалил спиральку, Айна зашла, обнюхала углы, но не осталась, вышла, легла на бугре в травку и водила глазами, наблюдала за Борей. Он ей не нравился.

Я достал из-под нар бензопилу, которую нашла Айна, и вынес под навес, сказал Боре, что она воняет бензином.

Боря вытер сковородку пучком травы и стал жарить рыбу. Головы гольца он кинул Айне, но та даже не шевельнулась.

Из куропаток шурпа была тоже наваристой и вкусной, Ваня угостил Борю, тот мясо съел, а кости оставил Айне, но она дождалась своей доли от нас, сгрызла всё, потом подобрала то, что оставил ей бородатый, и спрятала в траве, туда же унесла и рыбьи головы.

Я угостил Борю конфетами, чтобы помянул моего папу: *Он умер от раны на войне, и мы везём его пепел на Кичу*, сказал ему.

Так делал Полторанин, когда умерла его бабушка.

Поужинав, Айна подобрела, решила поиграть с Васькой, тот ощипывал кору *имукэча* — зарослей тальника у оврага, как заяц. Она попрыгала у его морды, но тот только мотал головой, тогда она стала хватать его ниже колен, и он побежал от неё по лугу, взбрыкивая задними ногами. Айна ловко уклонялась от копыт и весело лаяла. Но время от времени останавливалась и смотрела на Борю, когда тот поднимался и бросал в костёр кедрач.

Все устали с дороги и легли рано, первым уснул Ваня, пристроил ружьё у головы и уснул, потом я, во сколько пришли деда и Арсений, не знаю, деда и дома ложился позже всех: поил-кормил лошадей, а когда приехал папа, разговаривал с ним, пока тот не засыпал в своём кресле-качалке. Папа редко ложился в кровать, с мамой, и она обижалась на него, она не знала, что папа не хочет умереть в постели, я слышал, как он однажды сказал об этом Ильичу.

Деда очень переживал за папу, я догадался об этом, когда он снова стал курить свою трубочку на крыльце. Курил, вздыхал и стучал трубкой о ступеньку, выбивая золу.

Айна спала на улице, я понял по её шерсти, мокрой от росы даже на спине и ушах. Охраняла нас от Бори.

Ваня и Боря стояли под навесом и разговаривали об икре.

Вы не очень распространяйтесь, что у меня икра в леднике, говорил Боря, *а то желающих на неё много.*

А нам это зачем? — отвечал Ваня. *Купил и купил, только как увозить отсюда будешь?*

Ну, есть возможность, чем-то довольный, отвечал Боря.

Пока мы умывались, пили чай и собирали вещи, Боря не отходил, как будто следил за нами. Айна тоже не отходила, смотрела за Борей. Когда мы отъехали, Ваня сказал:

Не очень-то рад нам был, обычно люди в лесу не против компании.

Поменялось всё, как браконьеры эти объявились. А этот — охранник при икре, объяснил деда, *чего ему радоваться, вдруг настучим рыбникам, а мы настучим Сергею Макаровичу, обязательно. Ты думаешь это его личная икра?*

А чья ещё? На хрен ему чужую охранять?

Ваня разозлился, он был не очень доволен словами Ильича, видать, не хотел быть ябедой.

Браконьерская икра, не слышал, что Сергей говорил, они тоннами с реки вывозят, загубят реку! Им-то что? На другую реку встанут, а у нас другой нет! Деда тоже рассердился.

Я не люблю, когда ругаются, если мама с папой ссорятся, я ладонями уши закрываю, дверь тоже закрываю, чтобы не слышать, мне всегда кажется, что случится что-нибудь плохое, мне становится холодно и больно в груди, хочется упасть и кричать, но надо сдерживаться, ведь я уже большой и должен бороться со своей болезнью.

Я ударил пятками Ваську, и он побежал по Тропе. Кто-то подрезал вдоль неё кое-где шиповник и тальник, и она стала шире, и ветки уже не хлестали по лицу и не царапали колени и щиколотки. Айна отстала, я её не видел, но знал, что она бежит за нами и останавливается иногда, чтобы подождать Ильича. Айна всегда ждёт тех, кто отстаёт. Она должна их видеть или чуять.

Я услышал короткий выстрел винтовки деда и опустил поводья. Васька сбавил шаг, а потом сошёл с Тропы на поляну с ягелем и стал есть.

Если деда стреляет, чтобы я остановился, значит, он сильно рассердился. Я сел под берёзой и прикрыл уши ладонями, деда знает, что так я прошу не кричать на меня.

Когда они подъехали, я закрыл и глаза, не хотел видеть его злое лицо.

Пожалуйста, не уезжай от нас далеко, негромко сказал деда. *Здесь сейчас опасно, браконьеры могут взять тебя в плен.*

Зачем, они что, пираты? — удивился я и открыл глаза.

Чтобы мы их не выдали, сказал деда. Лицо его было усталым.

Они бандиты?

Они браконьеры, которые не хотят потерять свои деньги. Ради этих денег они кого хочешь убьют.

Мы снова выехали на Тропу, и деда был первым, а я вторым.

Они нас убьют? — спросил я деда. *Я не хочу быть мёртвым, деда. Мне осенью в школу надо.*

Мы им не позволим, сказал сзади Ваня. *Кишка тонка им нас убить. Я сам кого хочешь убью, малыш. Я папе твоему обещал тебя защищать. И государство обещало твоему папе тебя защищать. И я сам порву их всех, пусть только попробуют.*

А государство — это кто?

Это полиция и армия, прокурор и рыбоохрана, и старший рыбинспектор Сергей Макарович Вахрин, и я, морской пехотинец, гвардии старшина Окольчишин Иван Сергеевич, строго ответил Ваня.

И я, сказал деда, *Степан Ильич Долганов, бывший председатель райисполкома, а ныне пенсионер, охотник и оленевод.*

И шаман, добавил я.

Арсений Сергеевич тоже хотел сказать Максиму, что и он будет его защищать, но промолчал — перехватил взгляд Степана Ильича, который, должно быть, заподозрил его, женатого, в особом интересе к Кристине и теперь, на расстоянии восьмидесяти километров от села, пытался помешать его сближению с её сыном.

Степан Ильич, вероятно, опасался, что таким образом он попытается манипулировать Кристиной — их дружба с сыном поможет проложить путь к её сердцу. Или боится, что мальчик привяжется к нему, чужому человеку, и будет переживать, когда тот уедет.

Степан Ильич, ничего не зная об их отношениях, считал свою невестку уязвимой в горе и боялся, что Арсений, добившись своего, бросит, и ей будет трудно пережить эту новую беду. Арсений понимал, что ему следует поговорить со Степаном Ильичом, открыться ему, но что он мог сказать? После той встречи в Доме культуры она не то чтобы сторонилась его, а просто не замечала, как будто между ними ничего не было, и они — чужие.

Её отчуждение было столь естественным, очевидным, что Арсений стал подозревать: случившееся между ними, действительно, ничего не значило для неё и было чем-то захватывающим, необыкновенным для него. Арсений потерял всякую осторожность, и когда они все усаживались за обеденным столом, пытался перехватить её взгляд, поймать хотя бы скрытый намёк на ту близость, страсть, с которой она обнимала его. Он помнил и не мог забыть её светлые глаза, полные слёз и любви. Но, верно, не к нему. И теперь ничего этого нет. И это не притворство.

Потом, ночью, ворочаясь на продавленном диване в горнице, прислушиваясь к звукам в соседней комнате, к её тихому размеренному дыханию, он вдруг понял: то, что было, забыть невозможно, просто всё случилось в горе, помимо её сознания, в минуты забвения, в каком-то ином измерении, а потом она выпала из этого сна, и теперь ему следует ой как потрудиться, чтобы вернуть её. И это значит — вернуться к началу, к той купальне, к той общей горячей воде, где захватило и не отпускает это неземное притяжение.

Часть третья

Шаман

Ковбой уважает женщин, родителей и законы своей страны.

Джин Отри. «Поющий ковбой»

1

Да, когда-то у меня была другая жизнь. Но где она? Ушла как песок сквозь пальцы. Вместе с великой, устроенной по библейским заветам страной, в которой я родился. Она дала мне всё, в том числе бесплатное образование, да ещё какое: сначала институт народов Севера в Ленинграде, потом высшая двухгодичная партийная школа при ЦК КПСС в Москве, аспирантура в Академии общественных наук, кандидатская. С таким образованием мои товарищи если и возвращались на родину, то не ниже завотделом обкома партии. А мне, учитывая мою молодость, предложили пойти вторым секретарём обкома комсомола. Это значило, что через пару-тройку лет, когда войду в возраст Христа, меня двинут секретарём райкома партии. А я набрался наглости и попросился на хозяйственную работу — на должность зампреда исполкома в родном районе. Мою просьбу удовлетворили. И решающую роль в этом назначении сыграла не моя национальность.

Но самое удивительное, то, что казалось важным и незыблемым тогда, тоже ушло, не забылось, а именно ушло, словно не было вовсе, а если и было, то очень давно, и если что-то осталось, то какие-то бессвязные обрывки, лишённые смысла и цели, как название моей кандидатской диссертации — «Организация свободного времени эвенов как социальная и научная проблема».

У эвенов не могло быть свободного времени по определению, как когда-то и у крестьянина в России. Они должны, как ковбои, пасти оленей весь день, весь год, а летом три месяца заготавливать рыбу. Они не могли воспитывать детей иначе как своим примером: делай как я. Да и детей у них забирали в интернат и воспитывали как будущих космонавтов или, на худой конец, инженеров, но никак не эвенов-оленеводов. И они видели их только три летних месяца в году.

Но мне тема моей диссертации представлялась тогда очень важной: именно из-за неумения распорядиться свободным временем многие земляки становились запойными пьяницами, гибли в поножовщине или от туберкулёза. Вымирали. И я не осознавал тогда, что причина в самой советской цивилизации, целью которой и наградой было это самое свободное время, и оно должно было стать достоянием и советской деревни, вопреки круговороту сельской жизни. Мне лозунг смычки города и села казался тогда правильным, ведь без свободного времени невозможно саморазвитие до цивилизованного человека.

В короткий срок — два-три десятка лет — эвены из родо-племенного уклада были перенесены советской машиной времени в социалистический, совхозный строй.

Спасибо русской медицине, русским микробиологам и вирусологам, в такой же короткий срок они избавили мой народ от оспы, сифилиса и проказы, которыми их наградили казаки и промысловики, но не смогла излечить от повального пьянства. И только когда эвенам вернули оленей и рыбопромысловые участки, то есть дали возможность вернуться к прежнему тысячелетнему укладу, они стали просыпаться от этого праздного гибельного сна.

От той ушедшей вместе с великой страной жизни теперь ничего не осталось. Разве что деревянные дома, теплицы в каждом дворе и отопление от термальных источников. Но они были построены вопреки строительной традиции советских времён, вместо них в селе должны были стоять облезлые пятиэтажные хрущобы с центральным отоплением от угольной котельной, построенные из плит, отлитых на домостроительном комбинате и привезённых сюда по грунтовой дороге за 500 километров.

Мне, на то время уже председателю райисполкома, пришлось проявить чудеса изобретательности и изворотливости, чтобы убедить партийное руководство области, не везти сюда эти панели, а позволить строить из окрестного леса, а для отопления использовать геотермальные воды, бившие в изобилии из-под земли. И дело было не в неповоротливости партийных властей, а в порядке финансирования: коротко говоря, панели финансировались из федерального бюджета, а лес — из областного.

Я оставил в кабинетах Минфина и Минстроя не меньше полтонны икры и рыбы. Могу говорить откровенно, потому что этих людей давно уже нет, они тихо исчезли вместе со страной. А деревянные дома, профинансированные Москвой, остались, и будут стоять ещё долго, ведь лиственница не гниёт, в отличие от людей.

Совесть моя чиста: я не ушёл работать в обком, остался здесь, со своим народом, и когда всё рухнуло, не сел в уходящий поезд с партийными и комсомольскими деньгами, не пристроился управлять этими миллионами и миллиардами, укрытыми в новых банках, бесчисленных закрытых акционерных обществах.

И этим сумасшедшим ельцинским ветром перемен вашего покорного слугу выбросило на обочину.

Меня сменил мошенник и краснобай Полторанин, выбившийся из дальнобойщиков в начальники автоколонны, а потом и в руководители администрации района и разваливший налаженную систему управления хозяйством территории. Но я успел главное — не дал им «прихватизировать» оленеводческое хозяйство, превратить в очередное ООО или АО, а поделил согласно паям между всеми работниками, предварительно предупредив, чтобы не продавали свои доли всяким мошенникам, даже если это директор или главбух.

Вот так и вышло, что эвены получили своих оленей и свои рыбопромысловые участки, а меня арестовали и осудили за превышение должностных полномочий

на четыре года... условно. Не буду скрывать, что мне помогли, старая гвардия своих не бросает, но судимость не позволяла занимать выборные должности, а этого и добивались новые... руководители. Кстати, этого Полторанина не так давно осудили на восемь лет за получение взятки от какого-то *лесо-рыбохищника*, он лет десять назад купил диплом о высшем образовании и перебрался министром в администрацию края, оставив здесь свою семью.

Я как-то пережил все эти события, хотя не могу сказать, что полтора года в СИЗО прошли бесследно. Было трудно, необыкновенно трудно, особенно первые полгода. Следователь, чтобы выслужиться, пытался подвести меня под ОПГ, организованную этническую преступную группу, сделать из меня главного мафиози, требовал выдать «подельников», получив отказ, посадил сначала в камеру со стукачами, а затем определил к отморозкам, поощрял их бандитские наезды и угрозы *опустить* меня или зарезать.

Днём они дружно провоцировали меня на драку, плевали мне в тюремную баланду, отнимали и бросали в замурованный унитаз ложку и кружку, не давали спать по нескольку дней, привязывали к кровати без матраца и били снизу, через тонкое одеяло, по почкам, яйцам, а ночью оставляли возле параши и будили, если я проваливался в мучительный сон, подкалывая заточками. Я каждую ночь с болью в сердце прощался со своей любимой женой и детьми, не надеясь дожить до утра, знал, что здесь никто меня не защитит. И любой из уколов заточкой может стать смертельным. Порой мне хотелось раскидать, покалечить половину камеры, но другая половина, знал я, распнёт меня, посадит на кол.

Подавляло беспредельное одиночество в этой переполненной тюремной камере, где все — от сидельцев до надзирателей — были против меня, и они упивались тем, что им позволено делать со мной *всё*.

Но я всё же до конца не верил, что *советские* люди могут быть такими, искал с отчаянием и надеждой в этих лицах хоть каплю сочувствия, ведь это не враги, не фашисты, это наши камчатские жители. И не находил. Даже самые последние *опущенные* пытались толкнуть, унизить, более того, в них я чувствовал особенную злобу, извращённую, страшную.

Это длилось почти три месяца. Тогда я и притворился полусумасшедшим, а может, от отравившего душу страха, изощрённых издевательств, унижений и недосыпаний на самом деле впал в тихое помешательство, стал плохо слышать и понимать по-русски, сидел на корточках в углу камеры и, раскачиваясь, бормотал по-эвенски бесконечную родовую песню своего отца-шамана.

Тогда и случился перелом в моей душе, как будто во мне проснулась тысячелетняя память предков, кочевавших по белым просторам Сибири в поисках свободных пастбищ, преобразившая меня, современного человека с философским образованием, в язычника, умеющего отстраняться от реальности, выпадать в иные миры, бесконечные путешествия по территориям, над которыми вместо солнца тихо горели зелёные хороводы северного сияния.

Впрочем, тут я слегка преувеличиваю, всё-таки православие, хотел я того или нет, глубоко укоренилось во мне, ведь эвенов, язычников, начали крестить

в Сибири почти четыреста лет назад, и уже тогда нас писали в ясачных книгах под русскими именами, и наши три рода — Долгановых, Уягановых и Коерковых, ушедших на Камчатку, — числились за якутским старостойСаввой Балаганчиковым. Да и мой отец, Илья Иннокентьевич, долго не принимавший советскую власть, но принявший близко православие, как и все эвены, и скитавшийся по тайге и отрогам Срединного хребта до 1961 года, носил с собой Евангелие от Матфея в переводе на эвенский священника Стефана Попова, и я постигал грамоту по этой святой книге, и именно она пробудила во мне стремление к учёбе, к историческим наукам и подвигла меня уйти от отца в возрасте восьми лет. Я вышел к людям по Тропе, чуть не погиб. Но это долгая история, на другой раз. И мне было уже почти четырнадцать, когда я воссоединился с семьёй, — наше стадо увидели вертолётчики с уполномоченными и уговорили отца вступить в совхоз. Это я невольно предал отца, рассказав о наших кочёвках и оленях воспитательнице в интернате.

Смесь верований склонила меня к гностицизму. И неспроста первым гностиком считается язычник Платон. И если бы в тюрьме была возможность примкнуть к масонской ложе, я бы не колеблясь вступил в это сообщество, встал под его защиту.

Потрясшее меня переживание обещанной мучительной смерти от рук отморозков пробудило во мне тоску по вечности, высшим мирам. Это было как поцелуй Бога, который зажёг в моей душе свет.

Я обрёл способность чувствовать чужую боль и избавлять от неё.

Это произвело большое впечатление на сокамерников. Как будто к ним явился сам Иисус в обличье эвена. Возможно, эти способности уже были у меня, и отчаяние, близость смерти только пробудили их.

Как бы там ни было, отморозки мне поверили. Проняло даже Смотрящего. Кстати, он, из спортсменов, единственный в камере знал, что я самбист, чемпион Дальнего востока и специалист по боям без правил, что у меня «коронка» удушающие, что я на финале в Хабаровске чуть не задушил человека и после этого бросил спорт, и Смотрящий ждал, когда, наконец, раскидаю своих обидчиков. Он кому-то отписал, и в ответ с воли пришла *малява*: *Якута* — такое мне дали погоняло — не трогать. Это потом я узнал, что федерация самбо вошла в сговор с ворами. Мне выделили верхние нары, теперь я мог спать когда захочу, а не когда придёт очередь, перестали отбирать посылки, впрочем, я их сам отдавал в *общак* — так было принято у сидельцев. Но мог и не отдавать, как об этом повторял каждый раз, принимая еду, Смотрящий.

Следователь перевёл меня в другую камеру. К началу суда я стал уважаемым человеком среди простых и знатных арестантов, да и у руководства СИЗО тоже. Особенно после бунта.

Восстание арестантов подняли авторитеты: заключённые были недовольны перенаселённостью камер, плохой едой и прочими злоупотреблениями администрации. После переговоров с участием депутатов и журналистов федерального канала во главе с Политковским власти обещали поменять

персонал тюрьмы и облегчить положение арестованных. Но несколько бандитов, которые взяли в заложники женщин-надзирательниц, вопреки решению авторитетов, сдаваться не захотели, всё шло к убийству пленных и ответному разгрому двух этажей СИЗО. Во внутренний двор тюрьмы вошёл вооружённый отряд «Альфа».

Я убедил наш блок вернуться в камеры и попросился на восставший этаж тюрьмы. Начальник СИЗО не разрешил, сказал, что не собирается отвечать за подследственного гражданина. Тогда я обратился к замначальника УВД, генералу, я был с ним немного знаком — он приезжал в Эссо инспектировать местное отделение милиции. Он меня вспомнил. Я сказал, что могу убедить бандитов, мне поверят как сидельцу и председателю райисполкома. Генерал согласился, но велел надеть тяжёлый бронежилет, я отказался — если бандиты увидят его на мне, точно убьют. И мы пошли к ним. Когда-то я помог одному из восставших избавиться от сильной головной боли. И они согласились меня выслушать, для устрашения приставив заточку к горлу. Я сказал, что если сдадутся, то выйдет им амнистия и худшее, что грозит, — карцер, но никакого пересмотра сроков, а если нет, — прилетят вертолёты, возьмут под прицел окна, в блок пустят газ и захватят этаж штурмом, а оставшиеся в живых получат вышку. И пострадают люди из всех камер, потому что начнётся стрельба и паника. А если силовики не выполнят обещание, которое они дали перед журналистами и депутатами, то можете меня убить, ведь я остаюсь здесь, в СИЗО.

И мне поверили. Вернулись в камеры, отпустили надзирателей, отдали ключи и захваченное оружие. Меня вызвали к начальнику тюрьмы, и генерал рассказал, что тут дело не только в администрации, что бунты, хотим мы этого или нет, происходят по всей стране раз в двенадцать лет, во время мощных солнечных вспышек, и предыдущий был у «комиков», пошутил он, то есть в республике Коми. А мне пообещали содействие в скорейшем и справедливом рассмотрении дела.

2

Как только освободили, мы сразу же, как будто за нами гнались и могли вернуть в СИЗО, поехали на автостанцию, до автобуса на Эссо было несколько часов, итальянский чемодан жены высмотрели два ушлёпка, и когда я отошёл за сигаретами, стали что-то выдуривать у Лизы, я быстренько вернулся и в застилавшем глаза гневе, которого никогда прежде не испытывал, молча ринулся на них, я забыл свой зарок и был готов душить их и рвать зубами. Один хотел применить силу, но второй, взглянув на меня, шепнул ему что-то, и они бросились прочь как от бешеной собаки.

Через четыре года моё дело пересмотрели по реабилитирующим основаниям и судимость сняли одновременно с судимостью будущего губернатора Камчатки, осуждённого, как и я, ещё советским судом. Я уже не хотел идти во власть, меня переполняло отвращение к бывшей и новой номенклатуре, я не верил их слащавым признаниям в любви к народу, а тем более — к Богу.

Меня увлекло погружение в историю эвенов, шаманизма, изучение и восстановление древних обрядов и праздников. Вместе с другими энтузиастами, главным среди которых стал, неожиданно для меня, старший брат моей Лизы, Валерий Александрович Данилюк. Она пригласила его вместе с семьёй из Закарпатья в Эссо.

Я собирал деньги, пользуясь своей известностью, у вождей криминальных кругов, бессовестно выпрашивая у бывших рэкетиров, спортсменов и безбожников в обмен на вечную жизнь. Приступил к строительству и созданию этнографического музея, производству эвенских оберегов из комля каменной берёзы и бивней мамонтов, — они пользовались огромным спросом у туристов. Валерий Александрович, художник по образованию, оказался мастером на все руки, и особенно у него спорилась работа с деревом.

Тут я должен признаться: познав глубину человеческой мерзости, я открыл её и в себе.

И мне об этом неустанно напоминает приятель по аспирантуре в Академии. Он был режиссёром Мосфильма, имел первый разряд по стендовой стрельбе, узнав, что я профессиональный охотник и рыбак, пригласил поехать в Медвежьегорск, на озёра. Человек своеобразный, конфликтный даже в мелочах, он ни с того ни с сего спросил, мог бы я выстрелить в человека. Я искренне ответил, что нет. А он усмехнулся, посмотрел пытливо и недоверчиво заметил, что я лгу.

Надо сказать, он плохо кончил через год: застрелил у себя в квартире оператора, человека ангельской внешности, послал жену за водкой, сказав, что застрелится, если она не вернётся через пятнадцать минут. Она пришла через полчаса с милицией, но он уже ушёл к верхним людям. Об этом писали в газетах — он был человеком известным, работал с Меньшовым и Михалковым, снял несколько фильмов, у него в сериале был задействован даже Тихонов.

Так вот, Владимир, так его звали, не ошибся, увидев во мне убийцу. Уж не знаю как, может, предчувствие грядущих смертельных событий сделало его прозорливым.

Да, если бы тогда, в тюремной камере, мне дали гранатомёт, я бы сладострастно разнёс её вместе с обитателями и собой. После тюрьмы я перестал бояться смерти, для меня это стало всего лишь переходом в другую, общую с предками, жизнь, в другой мир, великий и вечный.

На Лизе, на её здоровье, мои перипетии сказались дурно. Она заболела.

У меня есть альтернативная версия. Источником болезни крови мог быть её первый муж, физик из Курчатовского, скоропостижно скончавшийся после поездки в Чернобыль сразу после аварии. Официальная версия его смерти то ли сердечный приступ, то ли внутреннее кровотечение, но ему едва исполнилось тридцать, в семье никто не страдал подобным. Возможно, ей просто не сообщили настоящий диагноз, ведь брак не был зарегистрирован. Ничего не смогла добиться и от его родителей. А на следующий год я увёз её на Камчатку.

Мы с Лизой познакомились в общежитии Академии, я её приметил сразу же, в первый аспирантский год — высокую худенькую быстроногую

блондинку с лёгким южным говором, — но у меня даже в мыслях не было сблизиться с ней. Помог случай. У неё как-то увели кастрюлю с курицей с плиты в нашей общей кухне, а я зашёл туда поджарить своё *блюманже* — так в шутку называл жаренную с большим количеством лука и томата докторскую колбасу. Она растерянно стояла посредине кухни и повторяла: *Представляете, последние полкурицы унесли...* И я это услышал так, как будто она потратила последние деньги и ей теперь придётся голодать, спросил номер её комнаты, оставил сковороду на плите и побежал в ближайший гастроном. Вернулся с курицей, колбасой и хлебом, и нашёл её на кухне. Оказывается, она охраняла мою сковороду. Лиза удивлённо приняла авоську и спросила: *Это они вам передали?* Я её не понял, но на всякий случай кивнул. *А из какой комнаты?* Назвал свою и пошёл к себе, она за мной. Зашли. Она непонимающе огляделась: *А где этот? — Кто этот? — Воришка... Стыдно стало?*

Всё кончилось тем, что Лиза приготовила цыплёнка табака и пригласила меня. Очень вкусно и весело получилось. А потом исчезла. Оказывается, переехала к своему парню, физику. И вот как раз в начале мая, в праздничные дни, когда всюду шептались о взрыве в Чернобыле, сторонились приехавших с Украины, вдруг затосковал по ней. Я знал, что Лиза работала в Академии в группе переводчиков, нашёл её, она вдруг обрадовалась, обняла, а потом расплакалась и рассказала, что муж, Руслан, вернулся из Припяти, через десять дней плохо себя почувствовал, у него носом пошла кровь, и его увезли на «скорой». Ей, дуре, надо было поехать с ним, но он попросил остаться дома, присмотреть за собакой. А теперь не может найти. Куда только ни обращалась. Даже в милицию. И родители его, обрусевшие татары, настроены к ней враждебно, как будто она виновата в его исчезновении, приехали, забрали собаку, его вещи, даже рюкзак, куртку и обувь. Я позвонил Владимиру, он как-то обмолвился, что его мама большой чин в органах. Выяснилось, что Руслан умер на днях от внутреннего кровотечения, его похоронили на Ваганьковском. С этой новостью я прожил полдня, не знал, что с ней делать, как рассказать Лизе. Но ближе к ночи понял, что дольше тянуть нельзя и поехал к ней, она жила недалеко, возле метро Юго-Западная, позвонил.

Лиза открыла сразу, будто ждала за дверью, заплаканная, и пошла на кухню. Я понял, что она уже всё знает. Ей позвонила сестра Руслана и попросила съехать с квартиры, ЖКО будет срочно делать ремонт.

Мы собрали её вещи и поехали в общежитие. Оказалось, что одеяло осталось в квартире мужа и ей нечем накрыться, я навязал своё, кое-как уговорил, она согласилась и пошла со мной. Предложил ей чаю, она кивнула и села на кровать. Я с чайником пошёл на кухню. Вернулся минут через десять, она свернулась калачиком, накрывшись моим одеялом.

Я подошёл к открытому окну, забыл закрыть, и стал смотреть на проспект Вернадского, на убегающие фонари. Днём было жарко, под тридцать, и воздух ещё не остыл, стоял тёплой стеной у самого окна. В этом огромном городе сегодня, и вчера, и неделю назад умерли многие, и завтра умрут, думал я,

и кто-то тоже страдает, но утром встанет и пойдёт жить дальше. Ничего не поделаешь. *У меня нет сил встать, я буду спать*, сказала вдруг Лиза.

Лиза была беременна, но не говорила от кого, я решил — от Руслана.

Мы пошли в больницу, и там Лиза сказала, чего боится, врач сразу же куда-то позвонила, потом вызвала ей «скорую», я её одну не отпустил, поехал с ней, нас почему-то привезли в онкоцентр на Каширку, там обследовали и отпустили.

У Лизы какое-то время кружилась голова, была слабость, она быстро уставала, такое бывает при беременности, сказали врачи. Ей дали от Академии двухкомнатную квартиру в Люберцах, хотя очередь подходила в следующем году. Квартира была очень хорошая, с огромной кухней, с электроплитой, большой прихожей, десять минут до остановки.

Я по просьбе Лизы частенько «выгуливал» её, как-то мы зашли в мебельный магазин посмотреть ей вешалку и стол со стульями и услышали, что началась запись на румынский гарнитур, очень дорогой. Я подмигнул Лизе и пошёл записываться. Потом посмеялись. Проводил её до дома и простоял возле магазина полночи, дежурил. Меня сменил какой-то другой активист, я его плохо разглядел в темноте и не запомнил, утром съездил в Москву за сберкнижкой, снял две с половиной тысячи из отложенных на машину, вернулся в Люберцы, стал искать свою очередь, но не нашёл сменщика и встал поближе к началу, сбоку. Женщина позади, полная, седая, с одышкой, молча старалась оттеснить меня, потом не выдержала: *Чего тут трёшься? Тут где-то моя очередь*, сказал я. *Так и знала*, заорала женщина, *тут не было никаких нанайцев, иди на...* И оттолкнула меня.

Я почему всё так хорошо запомнил: впервые в Москве, хотя Люберцы это не Москва, меня открыто захотели оскорбить из-за национальности, но я просто удивился: где Москва, а где нанайцы. *Эвен*, поправил. *Какой ты эвен*, закричала женщина, *ты китаец, а не эвен! Вы уж определитесь, женщина, то нанаец я у вас, то китаец*, сказал я миролюбиво. Мужик впереди меня обернулся, засмеялся и сказал: *Слышь, эвен, ты за тем товарищем в бейсболке*, и махнул вперёд, в сторону магазина. Должно быть, все были уже в курсе и, смеясь, пропустили меня к нему.

Достался-таки мне румынский гарнитур, матовый, тёмного благородного дерева, с зелёным, каким-то махровым, богатым раскладным диваном, двумя такими же уютными креслами, длинным низким столиком. Съездил в Академию, взял запасной ключ от квартиры у Лизы, сказал, что стол ей купил по случаю новоселья, помог грузчикам и мастерам поднять в лифт коробки и собрать мебель.

Я не появлялся у неё почти две недели, сначала готовился к защите диссертации, защитился наконец, с перевесом в два шара, и тут забеспокоился, как там Лиза, обиделась или что? Купил цветы, розы, и поехал к ней с замиранием сердца, а вдруг погонит вместе с гарнитуром, позвонил в дверь, но никто не отозвался, открыл сам, а на румынском столике записка, целое письмо, которое храню до сих пор: «Стёпа, дорогой мой человек, прости, что не

предупредила, мне как-то неловко стало, не могу разобраться со своими чувствами, просто не думала об этом, ушла в декретный и уехала домой, к родителям. Ты, как защитишься, приезжай тоже. Необязательно было покупать дорогую мебель, как-то неловко, думала, ты шутишь. Или ты, может, хочешь на мне жениться? Если так, то я не против, не буду притворяться, что та наша ночь была случайностью и ты мне безразличен, таких как ты — поискать. Но ты просто приезжай, без обязательств. И ещё, всё не решалась сказать, а ты не спрашивал, этот ребёнок не от Руслана, от тебя, я и сама только что узнала и не до конца ещё верю. Я ведь целый год до этого не могла забеременеть, а тут сразу... А ты — хочешь верь, хочешь нет».

Виноградово — это такой райцентр, недалеко от границы с Венгрией и Чехословакией, запомнились сады без заборов, магнолии и *перукарни.* Я думал, это пекарни, зачем так много, а оказывается, парикмахерские, но тоже много для такого городка. И ещё бары с бильярдом. И там сидят по вечерам мужички в пиджачках, при шляпах, за кружкой пива или стаканчиком вина, а не на скамейках вдоль кривых заборов, как у нас в Подмосковье. И все говорят по-русски и по-венгерски или на каком-то украинском, мне понятном. Они в таких же пиджачках и шляпах работают в своих садах и огородах, и когда видишь их там ранним утром в костюмах-тройках, понимаешь, что это национальная одежда у них такая, европейская. И никаких пьяных на улице с водкой в авоськах.

Жители Виноградово — настоящие европейцы. Очень вежливые, никто не подходил с папиросой во рту, не спрашивал, какой я *нации*; если посмотришь им в лицо, сразу улыбаются. Ты для них — гость; я встал в очередь за билетом, кассир увидела меня издалека, закричала в окошечко: пропустите *чоловика*, не видите — гость; зашёл в сад посмотреть на цветы магнолии, вышла седая, почти белая дама, я скорее назад, думал, погонит, а она заулыбалась, говорит: смотрите-смотрите, это можно.

Ни одного фашиста тогда на западной Украине не встретил, а у нас в то время, и особенно позже, при Ельцине, они уже были. И я теперь знаю, что фашисты — не шпана лысая, а уже выросшие — это те же бандиты, которые считают других *быдляком*, лохами *черножопыми* и *узкоглазыми*, а в девяностые у нас было фашистское государство, начали хороводить кавказцы, потом их отжали наши бандиты, как в фильме «Брат», — нацики лысые, скины открыто ходили по улицам. И если бы так было и дальше, то Россия распалась бы на отдельные княжества: русское, кавказское, татарское, башкирское, тувинское, калмыкское, бурятское, сибирское, якутское, еврейское, приморское или какое-нибудь камчатское... Может, и до гражданской войны дошло бы, как в Чечне. И до сих пор удивляюсь, как всех этих уличных фашистов Путин предусмотрительно извёл, должно быть, даже его достали.

А вот коррупция расцвела по всей *вертикали власти*. Невиданная в нашей советской стране. И я считаю, коррупционер — это вчерашний выросший и затаившийся фашист и бандит, только уже в галстуке, и даже хуже, потому что он богатый, как Ходорковский, живёт в хоромах и ненавидит свою страну и простой народ.

А теперь фашисты и на Украине, потому что она сегодня — это Россия в девяностых. И государство их поддерживает, сделало героями, которым позволено убивать тех, кто думает и хочет жить иначе. Боюсь, то же происходит сегодня во всём СНГ, потому что фашизм — это религия проигравших.

Я заметил, когда русских мало, они очень красивые. Семья Лизы — это красивые немногословные русские люди, которых занесло после войны далеко на запад общей страны. И в них столько тихого естественного достоинства, что ты даже не знаешь, как первым начать разговор.

Теперь, когда я их вспоминаю, уже ушедших, невольно сравниваю с нашей Айной. У неё не собачье, а человеческое достоинство. И оно не приобретённое, она с ним родилась, это естественное достоинство красивого сильного породистого животного. Вот и у родственников Лизы — естественное достоинство очень красивых людей. И чем старше они, тем оно заметнее. И бабушка у неё — величественная седовласая дама с милой улыбкой, она печёт необыкновенно вкусные и красивые пирожные, я таких не видел даже в Елисеевском гастрономе. А отец Лизы, и в сапогах, и со штыковой лопатой, похож на состарившегося древнегреческого бога. Когда мы возвращались в Москву, наш поезд остановился в Киеве, брат её, Валера, заскочил к нам на пять минут в купе, приветливый, голубоглазый, со слабым румянцем на чистых высоких скулах и сильными руками, и он так притягивал взгляд, что даже мне было трудно отвести глаза, столько в нём мужского обаяния.

3

Лиза родила Иннокентия в апреле, было уже совсем тепло, солнечно, но снег ещё куцым одеялом лежал на обочинах, и особенно в лесу, только вокруг толстых стволов лиственницы протаяли голубые неоновые ямки почти до самой травы.

Я всегда, каждую весну, удивлялся, какой у нас чистый пушистый снег — горит на солнце голубым неоновым отсветом.

Я нёс его на руках и чувствовал всем сердцем, что уже люблю его и он — мой. И Лиза шла рядом, слегка опираясь на моё плечо, бледная, с сухими корочками на губах, а я видел её свернувшейся калачиком под моим одеялом в общежитии Академии — ещё в горе, ещё вдова, но уже не чужая, за открытой узкой створкой окна стоял огромный город в ярких огнях.

И я чувствовал до слёз, что теперь они навсегда со мной, мои родные.

А когда он открыл глаза, к нам пришли старики в распахнутых национальных костюмах из рыжей ровдуги, в тяжёлых нагрудниках, густо расшитых бисером, в которых была зашифрована история их рода, столпились вокруг колыбели, склонив головы, как волхвы, и он вдруг стал улыбаться им, и улыбка у него была открытая, распахнутая, лучезарная, как будто он несказанно рад им и всему этому миру, в который явился, чтобы жить в нём долго и счастливо.

И вдруг кто-то увидел, что у него левый глаз в коричневых искорках, а правый — яркий, с голубым ободком, как у хаски, и они сказали, чуть ли не

хором, что это к нам вернулся великий Эмгени, вождь и шаман с разноцветными глазами, увидевший во время *камлания* дорогу сюда, в Долину счастья.

Новость быстро распространилась среди эвенов, и все решили, это хороший знак. И никто не знал, что до войны осталось тридцать лет.

Я долго провожал стариков, они то и дело останавливались и вновь и вновь, перекрывая узкий деревянный тротуар, обсуждали эту великую новость о возвращении Эмгени.

Лиза стояла над колыбелью, Иннокентий спал с лёгкой улыбкой на нежных младенческих устах, и лицо его светилось изнутри, и она ответно улыбалась ему сквозь слёзы. Я обнял её, успокаивая.

Я боюсь, что это Чернобыль, ведь я, прости, была две недели с Русланом после его возвращения, сказала она, почти касаясь век сына.

Нет, это реинкарнация Эмгени, сказал я твёрдо.

Иннокентий рос крепким, слегка пухлым, ниже своих одногодков, не как Максим, который в свои девять выглядит на двенадцать, и почти не болел, и Лиза говорила, когда очередная эпидемия, предсказанная *Хоашеном*, обходила его стороной, что это Чернобыль его закалил. И он был удивительно послушным, рассудительным, но однажды Лизе в первом классе пожаловалась учительница: Иннокентий подрался, и как-то жёстко, не по-детски.

Драться научил его я. Не то чтобы драться, а поставил ему удар правой, чтобы не задирали его из-за маленького роста и полноты.

За что ты их побил, спросил я.

Я не виноват, возразил он.

Я же просил маленьких не обижать.

Он не ответил, и сколько я ни спрашивал, молчал. Стоял набычившись, опустив голову.

Я тебя накажу, пригрозил я. *За то, что обижаешь маленьких.*

Это нечестно, ответил он наконец, и у него задрожали губы. *Они совсем не маленькие.*

Что они тебе сказали?

Он вдруг заплакал. Иннокентий никогда не плакал, только если сильно ударялся.

Я его обнял.

Зачем они дразнят, что я русский жопа узкий? Я тоже эвен!

Я растерялся, не зная, что сказать. Когда я был примерно в его возрасте и жил в интернате, вокруг меня были одни эвены, а в сказках и мультиках были почти всегда русские, и я хотел стать русским, а когда посмотрел фильм «Мамлюки», захотел стать грузином, но я никогда не хотел стать эвеном, наверное, потому, что я им был.

У тебя мама русская, и поэтому ты можешь быть и русским, нашёлся я.

А я хочу быть эвеном, как ты! — сказал Иннокентий и снова заплакал.

Ты можешь стать кем хочешь: хоть русским, хоть эвеном, когда будешь получать паспорт, успокаивал я.

Мне мама сказала, когда я вырасту, стану вождём эвенов, как Эмгени и ты.

Я не вождь, а всего лишь председатель райисполкома! — засмеялся я.

После этого я стал разговаривать дома по-эвенски. И они оба выучились эвенскому, Иннокентий и Лиза. И через два года он разговаривал как настоящий эвен. А Саша, младшенький, отказывался и, если я начинал наседать на него, плакал. Я чувствовал, что это не просто так, но не понимал природу его протеста, не понял и до сих пор. Признаюсь, что очень мало времени уделял младшему сыну, его воспитанием всецело занималась Лиза. Саша тоже выучился эвенскому, но разговаривал как русский, кое-как освоивший чужой язык.

Когда у меня было время, я забирал его из детского сада, чтобы дети знали, что папа у него эвен, но Саша, когда видел меня в раздевалке, как-то скучнел, и я понял, что он ждал мать, что ему больше нравится, когда его забирает Лиза.

Во втором классе Иннокентий занял первое место на межрайонной математической олимпиаде, чем очень удивил меня. И я сказал об этом Лизе. *А ты разве не видел, что он читает в свободное время?* — удивилась она в свою очередь. *Справочник по математике Выготского. Это он так отдыхает.*

В Руслана пошёл, пошутил я, *математиком будет. Физиком*, машинально поправила меня Лиза и слегка покраснела.

Но мы оба ошиблись, в восьмом классе Иннокентий попросился в суворовское училище, и я отпускал его с тяжёлым сердцем, подумал, что он навсегда уходит из семьи, что детство для моего ребёнка, который совсем недавно лежал в колыбели, закончилось.

Учился он на пятёрки, похудел, ходил на самбо — что скажешь, гены, — даже победил на первенстве города, вытянулся, и когда мы приехали на выпускной, я поразился перемене в нём, он был на голову выше меня, выглядел старше и серьёзней своих одноклассников — стал почти взрослым парнем. И я не смог возразить, когда он объявил, что идёт на год в армию, а потом поступит в военное училище в Рязани — такая непреклонность была в его юношеском голосе.

Я понял, что так в нём преобразилась его детская мечта стать вождём и защитником эвенов.

Да, быть ему генералом, подумал я тогда с гордостью.

То был 2004 год, я, наконец, с опозданием на два года, оформил пенсию, размер её меня удивил, не всякий в селе такую зарплату получал, немногим меньше, чем у Лизы, а она была начальником соцслужбы района.

После выпускного Лиза поспешила на Украину, на день рождения к маме, к 85-летию, у той на дом сил уже не хватало, нужно было продавать его, купить квартиру или уговорить переехать к нам в Эссо. Но через неделю после её приезда мама умерла, как будто для этого и ждала её, не дожив до юбилея два дня. А всю эту неделю она хлопотала, готовила, а ночью, перед тем, как скончаться, позвала её и показала, где она хранит деньги, бумаги и одежду на похороны. Рассказывая, Лиза взахлёб рыдала, я даже испугался, что ей станет плохо, мама всё знала о своей болезни, но не хотела лечиться, оформила дарственную на дом и имущество ей и Валере.

Мы посоветовались и отправили Валеру с женой Софьей в Виноградово. А я остался на хозяйстве.

На обратном пути они остановились в Киеве, и я уговорил Лизу обследоваться в тамошнем медцентре. У неё снова стала кружиться голова, она быстро уставала и худела. Лиза отмахивалась, ссылалась на весну и сосудистую дистонию, но я подозревал нехорошее — мой массаж и чаи ей не помогали, а месяц назад она ударилась бедром об угол стола, и синяк до сих пор не прошёл. Я к тому времени сильно продвинулся в самостоятельном изучении врачебных наук, знал симптомы многих болезней и научился воспринимать их руками.

Киевские врачи по анализу крови заподозрили лейкоз, предложили лечь на обследование, она склонялась к тому, чтобы согласиться. Я же велел немедленно ехать в Москву, там ей есть где жить, а Украина — это теперь заграница, денег возьмут много, но не факт, что вылечат.

Я поехал в Город и, как мне ни не хотелось обращаться к старым знакомым, связался с министром здравоохранения края, работавшим ранее у нас главврачом. Он не стал чваниться, что-то выдуривать, да и что с меня, пенсионера, возьмёшь, а сразу и довольно-таки приветливо принял меня. Нам тут же выделили квоту и дали направление в онкоцентр на Каширке. Диагноз киевлян подтвердился, Лизу положили в клинику и назначили химиотерапию. Самое главное в этом лечении — переносимость тяжёлого, но эффективного препарата, сокращённо — ИТК, нам повезло, организм Лизы эту тирозинкиназу принял, она прошла полный курс, лейкоциты вошли в норму, не понадобилась пересадка костного мозга, и её отпустили домой под наблюдение врачей краевой онкобольницы. Лиза воспрянула духом, к тому же я подобрал для неё хорошую статистику: процент выживания при раннем выявлении болезни и правильном лечении почти 95 процентов.

Лиза умерла не от лейкоза, в 2014 году, как раз после майдана, она стала ездить за тридцать семь километров от Эссо на термальные источники, принимать горячие ванны. Я только потом понял, зачем она это делала — больше всего Лиза боялась рецидива болезни и потому, прочитав статью в каком-то медицинском вестнике о лечении онкологии методом гипертермии, стала ездить в этот термальный колодец, скрыв от меня. После очередной продолжительной процедуры у неё случился инсульт. Её привезли в село без сознания, с обширным кровоизлиянием в мозг. Перед смертью стала шевелить пальцами левой руки, будто что-то хотела нащупать, удержаться, я подумал, что она приходит в себя и подсунул свою ладонь, она легонько, почти незаметно, сжала её и, показалось, попыталась произнести начало моего имени, нахмуренные брови тотчас же разошлись, лицо разгладилось, посветлело... И я понял, что она только что простилась со мной.

Эта мысль, это сознание пробило меня, как удар острым и ледяным, я непроизвольно глубоко вдохнул, поперхнулся и несколько минут не мог освободиться от спазма и от этой холодящей, сковывающей грудь боли.

Даже умирая, она думала обо мне, как будто благодарила за что-то, а я после СИЗО как-то отдалился от неё, собственно, отдалился от всех, даже от детей.

Жизнь стала представляться чем-то незначительным, мелким, как далёкий однообразный ландшафт из окна самолёта. И я не видел, не находил своего места во всей этой съехавшей вместе с горизонтом земле. Да и, собственно говоря, до сих пор не нашёл.

Лиза не заслуживала такого охлаждения. Ради меня, вождя забытого маленького народа, как это представлялось ей, она уехала из величественного города, прорезанного радиальными линиями удивительных по красоте подземных тоннелей, оставила работу в одной из могущественных организаций мира, уехала в затерянный посреди тайги край, подарила двух замечательных сыновей.

Она ушла до гибели Иннокентия. Мне теперь не с кем разделить эту разрушительную утрату, и я склоняюсь в одиночестве, день за днём, над колыбелькой с младенцем, и вижу его лучезарную улыбку и разноцветные глаза.

(Окончание следует)